

ACEEB



ACEEB

2

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

**НИКОЛАЙ
АСЕЕВ**

**СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В 5 ТОМАХ**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА • 1963**

НИКОЛАЙ
АСЕЕВ

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 9

СТИХОТВОРЕНИЯ
И ПОЭМЫ
1927 · 1930

СТИХОТВОРЕНИЯ

Столичная ЛИРИКА

1928

ПОСЛАНИЕ КРИТИКУ

Московские липы
на залитых жаром
бульварах.
Все лица
на резком свету:
июль
беспощаден
и ярок...
Вчера
налетел на меня
мой критик,
обиженный мною.
Он,
ножками
зло семеня,
ко мне
повернулся спиною.
Он в сторону
прыгнул блохой,
и видимо было
по роже —

какой человек я плохой,
какой человек он хороший!
О, злостью сведенный педант,
надутый обидой филистер,
взгляни без тоски хоть сюда,
на медом плывущие листья!
Сильней этот запах втяни —
густой и счастливый, как детство, —
и рифма тебя осенит,
как первое слово младенца.
И если цветенья игра
тебя обоймет и затронет, —
клянусь не писать эпиграмм,
зарыться в безмолвии хроник.
Я путь уступаю тогда, —
иди циркулярствуй и шефствуй,
клянусь — не бесславить
твоих триумфаторских шествий.

Но нет!
Раздувается спесь
индючьего
сизого зоба.
и
песню —
какую ни спеть —
не слышит
глухая особа!
И вновь
разгораются прения:
он
скучно заспорит,
и тут,
хоть
и без его одобрения,
московские липы
цветут.

1927

**СУХОЙ ДОКЛАД
О ЖАЖДЕ СВЕТЫХ РЕЧНЫХ ПРОХЛАД**

В окно
 глядятся листики...
Пейзаж —
 как в беллетристике.
Покуда
 глазу видимо,
он жаром
 залит прочно,
как будто
 весь он выдуман
полистно
 и построчно.
Дрожит
 под солнцем
 знойный вид,
как автор
 в жажде славы,
и даже
 Кремль норовит
отдельно
 плавить главы.
Постой!
 Хоть ты и урбанист,
но если —
 город душит,
напрягши мускулы,
 рванись

из-под бетонной
туши.
Асфальт,
железо
и стекло,
все —
липким потом истекло.
Из городского
барахла
в речную зыбь
и свежесть,
в раскат
и лень
речных прохлад
плечом и грудью
врежусь;
под деревянную
бадью,
под
синих брызг
мониста...
А критик —
пусть зовет
судью
и судит
урбаниста.

1928

ПРЕДГРОЗЬЕ

В комнате высокой
на целый день
сумрачная, смутная
осела тень.
Облачные очереди
стали в ряд,
молнии рубцами
на лице горят.
Голос ненаигранный —
дальний гром,
словно память кинутая
детских дрём.
Вот и ветер, хлынувший
волной обид,
каждый сердца клинышек
дождем дробит...
Двигается республика,
шумит внизу,
слушает плывущую
над ней грозу.
Как мне нынче хочется
сто лет прожить, —
чтоб про наши горечи
рассказ сложить.
Чтобы стародавнюю
глухую быль
били крылья памяти,
как дождик — пыль.

Чтобы ветер взвихренный
в развал теней —
голос ненаигранный
чтоб пел о ней.
О моей высокой
синемолнийной
комнате, тревогою
наполненной.
Вот хотя бы этот
грозовой мотив
выпомнить и выполнить,
на слух схватив.
Это не колеса
бьют и цокают
в песнь мою и в жизнь мою
высокую.
Это рвет республика
сердца вниз,
слушая плывущую
над ней грозу.
Ты плыви, плыви,
гроза, по желобу:
долго небу не бывать
тяжелому.
Ты плыви, гроза,
на нас не вешайся,
прибавляй нам смелости
да свежести.
По моей высокой
синемолнийной,
бодрю тревогою
наполненной,

РАНЫМ-РАНО

Утром —
 еле глаза протрут —
люди
 плечи впрягают в труд.
В небе
 ночи еще синева,
еще темен
 туч сеновал...
А уже,
 звеня и дрожа,
по путям
 трамвай пробежал;
и уже,
 ломаюсь от зевот,
раскрывает
 цеха завод.
Яви пленка
 еще тонка,
еще призрачна
 зудь станка...
Утро
 точит свое лезвие;
зори
 взялись за дело свое.
В небо
 руки свои воздев,
штукатуры
 встают везде.
Кисть красильщика
 и маляра

тянет
суриковые колера...
Светлый глаз свой
и чуткий слух
люди отдали
ремеслу.
Если любишь ты жизнь,
поэт, —
раным-рано проснись,
чуть свет.
Чтоб рука
не легла, как плеть,
встань у песен
пылать и тлеть.
Каждый звук свой
и каждый слог
преврати
в людей ремесло,
чтоб трясло,
как кирка забой,
сердце —
дней глубину —
тобой.
Слушай,
чтоб не смолкал твой слух,
этот грохот
и этот стук;
помни,
чтоб не ослеп твой глаз,
этот отблеск
и этот лязг.
Не опускай
напряженных плеч,
не облегчай
боевую речь;
пусть, хитра она
и тонка,
вьется стружкой
вокруг станка.

разложат
мирные огни
в голубоватый
вечер,
А на окраинах
уже,
по стыкам рельс
хромая, —
чем вечер позже
и свежей —
длинней
ряды трамваев;
они
настойчиво звенят,
зовут
нетерпеливо
нести
домой нас,
как щенят,
усталых
и счастливых.

1928

НОЧЬЮ ИЗ ОКНА

Мы растем,
развертываем плечи,
завоевываем воздух,
радио,
кино.
Но —
сквозь новый облик человеческий
просквозит внезапно
век иной,
Вверх бегут
готические своды
в каменные
средние века,
будто снова —
сумрачные воды
повернула
времени река.
И на этом
современном свете
безо всяких
новых перемен...
Задыхаясь,
Сакко и Ванцетти
кандалами
брякают
в тюрьме.
Бредят люди
в постоянном страхе,

Рушатся
 готические своды
на забытом,
 древнем берегу,
и времен
 натруженные воды
к твоему подножию
 текут.

1927

СВЕТ

По Москве
 кричат петухи!..
Значит —
 суп у нас будет с курицей.
Отчего же
 мои стихи
продолжают
 мрачнеть и хмуриться?
По стране
 звенят пятаки,
серебро
 оттянуло гашники.
И сравнений
 нет никаких
с захудалостью
 дня вчерашнего!
Только радость моя —
 узка,
мельтепит
 от случая к случаю.
Неужели ж
 я стал брюзга,
не затронутый
 жизнью лучшею?
По Москве у нас
 шум и свет!..
Неужели же
 мы не вычистим
тишину
 непролазных лет
рассиявшимся электричеством?

Мне не сласть —
над одной Москвой
видеть света
дуги и радуги:
я хочу,
чтобы им насквозь
пламенеть
на Волге и Ладоге.
Муть и сонь
непробудных мест,
грохоток
под железной шиною, —
в дрожи звезд
задремал уезд
тишиной своей
петушиною.
Сколько лет нам
за лес и хлеб,
подвозимый
горькими клячами,
распевать
про навоз и хлев, —
жить лишь
радостями телячьими?!
Не насквозь же
сердца пророс —
и сердца
остеклели заживо —
этот злой
голубой мороз,
поровящий
кровь замораживать?!
Нет!
Недаром тот блеск и шум.
Разбросайся, костер,
поленьями.
Сдвинься с места,
гиляцкий чум,
топоча ногами оленьими.
Шевелись,
голосок во рту,

желчь и горечь обиды
выплюнув.
Мы собьем вековой колтун,
темнотой
над Севером вздыбленный.
Полыхнет —
не в одной Москве, —
жить светлее
повсюду хочется, —
этих зорь
небывалый свет,
и петушья песня
прикончится!
Свет
сверлящих тьму
проводов,
глаз зари,
запылавший ранее,
ты затмишь
своей правотой
даже
Северное сияние.
Не погаснешь ты
под крылом,
слепотой
и ужасом веющим;
ты нам блещешь
в темь
напролом
по снегам,
зарей розовеющим...
По Москве
кричат петухи,
по нашестам своим
орут еще.
Но растут
огни
и стихи
о сияющем
нашем будущем!

МОСКВИЧИ

1

Своею,
 совсем особою кастою, —
чужие придут —
 сгорим от свечн, —
жили лобастые
 и очкастые
закоренелые
 москвичи.
На Сивцевом Вражке,
 на Старо-Конюшенном
и дальше
 за тусклым просветом реки
еще и теперь
 могут быть обнаружены
их старые гнезда —
 особняки.
Носители славы
 и знания светочи,
они
 родовое хранили лицо
среди
 дорогой им
 наследственной ветоши,
покрытой душистой
 истлелой пылью.

«Ветром густым
ломит кусты,
мчится стрелой
олень.

Я на весу
пулю несу,
мог бы догнать,
да лень.

Что мне бежать,
если свежа
вечера

сонь и тень.
Это не лес —
города блеск,
это — трамвай, —
не олень».

3

Когда возвращался
какой-нибудь пьяненький,
от вин,
почета

и времени дряхл,
он был раздеваем
столетнею нянькой
в повойнике пестром
на серых кудрях.

А эти —
не требуют наблюдений,
крепки их клыки
и упруга рука.

Высок и росист
рассиявшийся день их,
и ночь их спокойна
и глубока.

До их кочевого
тревожного быта
еще не коснулся
бродильный застой.

и мы не сгорим
от грошовой свечи,
с обношенной шапкой,
с обглоданной коркой,
мы,
новой формации москвичи!»

1927

ОРАНЖЕВЫЙ СВЕТ

1928

СВЕТ МОЙ...

Свет мой оранжевый,
на склоне дня
не замораживай
хоть ты меня.
Не замораживай
в лед и в дрожь,
не замораживай
в лень и в ложь.
Чтобы — первый
сухой снежок
щек моих не щекотал,
не жег;
чтобы — зимнее
марево
глаз не льдило,
не хмарило.
Дзень-дзирилинь-дзинь,
дзанг-джеой,
длись, мой свежий,
оранжевой.
Что ты, в самом деле,
с ума сошел?

Петь такие песни
нехорошо.
Петь такие песни
невыгодно, —
разве ж наши зимы
без выхода?
Если натереть бы
небо порохом, —
где б ходить тогда
по небу сполохам?
Если все была бы
только выгода, —
где тогда искать бы
сердцу выхода?
Свет мой оранжевый,
на склоне дня
не замораживай
хоть ты меня.
Не замораживай
мое лицо
в лед, и в ложь,
и в лень, и в сон.
Дзень-дзирилинь-дзинь,
дзанг-джеой,
длись, мой свежий,
оранжевой!

1927

ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЯ

За то,
 что наша сила
была,
 как жизнь, простой,
что наша песнь
 косила
молчанье
 и застой.

За то,
 что даль клубила
в нас
 помыслы — мечтой,
нас молодость
 любила.

За что,
 за что,
 за что?

О серо-розоватый
рассветный час,
навек,
 навек сосватай
с весной нас,
навек,
 навек сосватай,
соедини
с березою
 и мятой
стальные дни!

Что
 свежестью первичной
мы шли
 обнесены,
что
 не было привычной
нам меры
 и цены.
За крепость
 и за смелость
в тревожные года,
за то,
 что громко пелось
всегда,
 всегда,
 всегда!
За то,
 что мы,
 от робких
пути поотрезав,
ловили
 в дальних сопках
напевы партизан.
За то,
 что мы не крылись,
меняя имена,
когда
 плыла у крылец —
война,
 война,
 война!
За то,
 что революций
нам слышен
 шаг густой,
что песни наши
 вьются
над
 красною звездой.
За то,
 что жизнь трубила

настигнутой
мечтой,
нас молодость
любила.

За что,
за что,
за что?

О серо-розоватый
вечерний час,
навек,
навек сосватай
с весной нас,
навек,
навек сосватай,
соедини
со свежестью
несмятой
стальные дни!

1928

ЗВЕНИ, МОЛОДОСТЬ

Звени, звени, молодость,
сильная да злая,
жизнь твоя веселая,
полная до края.

Только помни, молодость,
не без края весен,
станет свистом, холодом
свет непереносен.

Станут тучи серые
над тобой метаться,
станет ночи целые
думаться, не спаться.

Звени, звени, молодость,
свежая да злая,
имя свое легкое
хвастая и славя.

Только что тут выдумать,
если все едино
видимо-невидимо
в голове сединок.

Губы мои любые,
вы уже не прежни:
вовсе стали грубые,
а бывали нежны.

Звени, звени, молодость,
быстрая да злая,
звездами да грозами
дополна пылая.

Видно, впрямь нездорово
конному опешить,
голову, как олово,
на ладони вешать.

Как ее ни вешаешь
низко на ладони, —
все равно не сделаешь
снова молодойю.

Раззвенись же, молодость,
до глухого места,
помоги мне с осенью
сдуматься и спеться.

1927

ПЕСНЯ О ПРЕДМЕРЕ РОСКОШИ

1

Стой,
 довольно вздор писать!
Есть же
 цвет и вкус
 в вещах?!
Голубую
 шерсть песка
я добыть
 вам обещал.
Неразборчив
 след судьбы,
но у этих
 легких ног —
будь я проклят
 и забыт! —
упадет он,
 как венчик.
Я и сам
 не так уж прост.
Я делю
 добычу с ней:
выпрямляюсь
 в полный рост,
как разумней
 и честней.
Если
 Север наш суров,

если
жаждет он побед, —
льдишь в кристалл,
мое перо,
выполняется
обет.

Если
вьюгу затрясло, —
значит,
ей меня не жаль...
Становлюсь
на лыжи слов,
ухожу
в литуую даль.

2

Запорошены
следы,
стонет тундры
колыбель.
Он
среди других — седых —
всех быстрее
и голубей.
Бился по ветру
дымок,
билась об землю
пурга.
Он собрался
весь в комок,
в снеговой
скача курган.
От снегов
в глазах рябит,
простынь
пухляя топкá...
Вот он
пойман
и убит:

щелканул
зубцом кашкан.
Он прижат
щекой к снегам,
он оскалил
белый зуб,
никогда
не полагав
ветром
выстеклить слезу.
Вот и все,
что записал,
все,
что высмотреть
я смог,
кинув ветрам
в небеса:
а теперь —
к губам замок,
а теперь...
Ты кто таков,
чьи виденья
так остры, —
подложи-ка
с двух боков
сушняка
в мои костры.

3

А теперь,
мои друзья,
я засну,
жарой томим.
Шкуру
от костей разъять
уж придется
вам самим.
Не посмей
на нас клепать,

гнусь, —
 скорей забейся в щель.
Видишь,
 что я ей припас:
цвет и вкус
 и вес вещей.
Сплю я в ряд
 с моей судьбой,
и тепло
 ее плечо.
Вьюга льдится,
 снег рябой,
уголь
 спину мне печет.
Нет, не сплю я.
 Сон бежит.
И у белых
 легких ног,
голубея,
 он лежит,
развернувшись,
 как венок.

1926—1927

по торцам
прогремевший сапог,
закипающий
говор эпох;
им
в упор затеваемый спор
с перезвоном
серебряных шпор
и тревожную ранью —
людей
онемелых
у очередей.

2

Товарищи!
Свежей моряной
подернут
широкий залив.
Товарищи!
Вымпел багряный
трепещет,
сердца опалив.
Товарищи!
Долгие мили
тяжелой
соленой воды
давно с нас слизали
и смыли
последнего боя
следы.
Но память —
куда ее денешь? —
те гордые
ночи хранит,
как бился тараном
Юденич
о серый
суровый гранит.
И вспомнив, —
тревожно и споро

и радостно
 биться сердцам,
как,
 борт повернувши,
 «Аврора»
сверкнула зрачком
 по дворцам.
И после,
 как вьюга шутила,
снега
 на висок зачесав,
как горлом стуженым
 Путилов
кричал
 о последних часах...
Об этом
 неласковом годе
запомнив
 на тысячу лет,
он,
 вижу,
 молчит и уходит
в сереющий
 утренний свет.
Товарищи!
 Крепче за локти.
О нем еще память —
 свежа.
Глядите,
 как двинулся к Охте;
смотрите,
 чтоб он не сбежал,
единственный
 город Союза,
чей век
 начинался с него,
соча свои слезы
 сквозь плюзы,
сцепивши
 мосты над Невой.

Лишь —
от центра на острова
бьется грудью
с гранитом трава.

4

Стой!
Ни с места!
Будешь сыт!
Жить без города нам —
стыд.
Разведешь
меж островами
снова
легкие мосты.
Видишь:
дым хвостами задран,
скручен прядью
на виске.
То —
балтийская эскадра
по твоей
дымит тоске.
Военморы!
Полный ход.
Глубже,
глубже,
глубже
лот:
Вы ведь
городу большому —
мощь,
защита
и оплот.
По морям,
морям,
морям,
нынче здесь,
а завтра там!

Ты им
старшим братом будешь,
всем
восставшим городам!
Кораблей военных
контур,
расстилая низко дым,
вновь скользит
по горизонту.
Ленинград!
Следи за ними.
Обновив и век
и имя,
стань навечно
молодым!

1925—1927.

МОСКВОРЕЦКИЕ ЧАСТУШКИ

На Москву да на реку
светит по фонарику —
с каждого пролетца
свет на воду льется.

Я на Каменном мосту
и гуляю и расту,
только мне не вырасти:
очень много сырости.

За мостом на Балчуге
молодые мальчики,
молодые, русые,
бритые, безусые.

Как вас по имени,
как вас по отчеству,
как ваша фамилия? —
очень знать нам хочется.

Хоть и очень интересно, —
не вступаю в разговор
с незнакомым, неизвестным:
может, жулик либо вор.

Автобусы идут
номерованные.
Ох, думки мои,
замурованные.

Возьми меня вывези,
что ж я здесь на привязи?
Поскорее вывози,
не завязни во грязи.

Как у нас на Лузе
ходят тенью кляузы,
под стеной столетнюю
вьется плесень сплетнею.

Побегу я на реку,
поклонюсь фонарику:
посвети мне, друг фонарик,
чтоб не сбиться мне с пути.

Светит город за рекой,
до него подать рукой,
если б встрется провожатый —
хоть ледащенький какой.

Чтобы встрется на дороге
вежливый, воспитанный,
чтобы был бы без мороки
в жизни друг испытанный.

Ах, Чистые пруды,
тяжелые труды.
Разметались мои мысли,
запутались следы.

1928

ЗА СИНИЕ ДНИ

В Крыму расцветают черешни и вишни,
там тихое море и теплый прибой.
А я, никому здесь не нужный и лишний,
не знаю, как быть и что делать с собой.

А я пропадаю за милую душу,
за милую душу, за синие дни;
ночую без крыши и сплю без подушек,
скитаюсь без цели, живу без родни.

На Курском вокзале — большие составы,
доплаты за скорость платить не могу.
А мне надоело стрелять у заставы,
на темном подъезде на желтом снегу.

Уже декапод нажимает на рельсы,
уходит на юг, как и в прошлом году...
Смотри, беспризорник, вернее нацелься,
ныряй под вагон на неполном ходу.

Залягу жгутом в электрический ящик,
от саж и пыли, как кошка, рябой;
доеду — добуду краев настоящих,
где тихое море и теплый прибой.

Доеду — зароюсь в горячий песочек,
от жаркого солнца растает тоска;
доеду — добуду зеленую Сочу,
зеленую Сочу и Нову Аскань.

Нас пар не обварит и смерть не задушит,
бригада не выгонит из западни.
Мы здесь пропадем за милую душу,
за милую душу, за синие дни.

1927



СТИХИ НА СЛУЧАЙ

1928

ПЕСНИ ПИЩИКА

Вот — кот Пищик,
умнее не сыщешь:
глаз лучистый,
хвост пушистый,
цвет — пожарно-огневой...

Посмотрите эти песни
и картинки про него.

У меня есть кот,
вечно голоден живет,
вечно голоден, не сыт,
вечно думает, не спит:
как бы в шкаф ему залезть,
как бы все в шкафу поесть.

Са-ла
ма-ло,
мя-са
мас-са,
ко-рок
во-рох,
пирогов сорок,

вареники в плошке
да телячьи ножки,
еще — около
стоит окорок,
поросячий бок,
требушинки клок,
индюшиный хлуп
да петуший пуп!
Все запить молоком,
все заесть толокном,
жареною пышкой,
шоколадной мышкой.

«Киска, киска,
мыши близко!»

«Мне нет дела до мышей,
сам мышей гони взапей.
Мне за ними гнаться лень,
я сижу — гляжу на тень:
на тени — мои усы
неописанной красы».

«Что ты делаешь,
котан?
Книгу портишь,
шарлатан».

«Ничего не порчу,
видишь — морду морщу;
увлечен наукою,
грамотно мяукаю».

У меня есть кот,
вечно голоден живет;
он такую песнь поет:
хорр-морр, хорр-морр.
у меня хозяин вор,
им — моя телятина
бессовестно украдена;

хырр-мырр, хырр-мырр,
весь поел хозяин жир,
а все косточки —
спрятал в горсточке.

В том вон
магазине
продавец —
разиня.
Торгуйся,
ругайся,
за меня
тягайся.
А я прыгну
из мешка
за прилавок
в два прыжка.
Только миг —
и в уголок
все колбасы уволок.
Киске — брыски...
Колбасы — огрызки.

Котик Пищик,
разбирайся в пище.
Можешь враз
попасть впросак,
со слезами
на глазах,
со слезами
солеными,
со усами
палеными.

Раз он встретил
крыс, крыс;
уж как он их
грыз, грыз.

А теперь у kota
во всем теле ломота,
белый свет ему не люб,
разболелся страшно зуб.
Дело-то было бесполезное:
крысы-то были — железные,
искусственные,
бесчувственные —
на колесиках.

Прыг, скок,
брык в бок,
тот прыжок
пойдет мне в прок.
Прыг, хлоп,
прыг, гоп,
ну, теперь
пойдем в галоп.
Прыг вверх,
гоп вкось,
ну-ка вскинусь
на авось.

Но — на все
четыре лапы
упаду я, —
как ни брось.

1925—1927

ТОП-ТОП-ТОП

По улице по тряской,
сверкая свежей краской,
пока весь город пуст,
выходит из гаража,
как слон для магараджи,
тяжелый автобус.

И следом — ходом спорым,
отфыркнувшись мотором,
шумя, грозя, сопя,
выкатывают чинно
грузовиковы шины,
замотаны в цепях.

Потом, шурша чуть слышно,
выскальзывает пышно
открытый, легковой;
поет его сирена —
и пешеход смиренно
отходит с мостовой.

А дальше — малолетка
спешит мотоциклетка,
хлопочет и пыхтит:
«Ах-ах! Ахти мне, братцы!
Меж вами — не пробраться,
ахти, ахти, ахти!»

На стыках рельс хромая,
кругом бегут трамваи:
«Зерзинь, зерзинь, зерзинь!»
Напоминаем строго,
что шумная дорога —
опасна для разинь!»

А вот гремит платформа;
лоснящийся от корма
битюжный ломовик —
большой и неуклюжий —
копытом бьет по луже:
он к тяжестим привык!

За ним — извозчик рослый,
перекосивши козлы,
кричит: «Па-жа! Па-жа!»
И все это стремится,
спешит вперед, струится,
по улицам кружа.

В таком водовороте
вот стой, открывши ротик,
не зная — как пройти.
Копытам, шинам, спицам
нельзя остановиться —
крути, лети, верти!

О, маленькая мышка!
Тебе бы здесь и крышка,
и кончен бы рассказ...
Но у милиционера
прекрасная манера
и очень зоркий глаз!

Он глянул бодро, браво
налево и направо,
и шум и гам исчез;
свободен путь опасный:
он поднял жезл красный,
он только поднял жезл.

И все автомобили
немедленно застыли,
и все движенье — стоп!
Бегите, крошки-ножки,
без страха по дорожке —
топ-топ, топ-топ, топ-топ!

Трясаясь на шинах дутых,
все терпеливо ждут их —
чуть слышные шаги,
благодаря которым
отрезан путь моторам
и стали битюги.

Шоферам всем обидно:
им даже и не видно,
кто путь их пересек!
Глядят из-под ладони:
подпрыгивают кони,
кто задержал их всех?!

Но кончен путь опасный,
и жезл опущен красный.
Прошел короткий миг.
И вновь движенье льется,
и крутятся колеса,
и шины — шмыг да шмыг!

1925—1927

НОЧНЫЕ СТРАХИ

В зверинце всех выше
и толще — слон.
Едва уместился
под крышей он.
Отличный слон,
индийский слон,
шершавый и серый
со всех сторон.

Такой необычный
имея рост,
он мог бы занять
очень важный пост,
но, будучи прост,
как чиж или дрозд,
он хоботом ловит
себя за хвост.

Когда наступает
ночная тишь,
во мраке тихонько
скребется мышь
и в поисках корки
выходит из норки,
уверенная,
что ты крепко спишь.

И вот просыпается
в страхе слон,

от маленьких глазок
он гонит сон.
Расставивши ноги,
трубит он в тревоге,
за стоном глухой
испускает стон.

Щемит его сердце
ужасный страх.
Его окружает
бездонный мрак.
А в этом мраке
какие уж драки!
Наверно, невидимый
грозен враг.

Не чувствуя
за собою вин,
отчаянно клювом
стучит пингвин.
Поверх крокодила
вода заходила,
но он не шумит
изо всех один.

Зато совершенно
забывши лень,
вздыхает и лает
морской тюлень.
И, лапы под мышку
засунув, мартышки
визжат, пока в окна
не глянет день.

На рев просыпается
желтый лев;
спросонья он тотчас
впадает в гнев:
слону от испуга
приходится туго,
и лев открывает
зубастый зев.

По клеткам проносится
гул и шум:
на задние лапы
встает опоссум;
и белый медведь
начинает реветь,
как будто лизнул
раскаленную медь.

Мышонок же, скрывшись, —
скорей, скорей! —
усы умывает
в своей норе;
и ночи остаток
он братьев хвостатых
волнует рассказом
про страх зверей.

Хоть слон поднимает
огромный груз, —
смотрите, какой он,
однако, трус!
Всех толще и выше,
а маленькой мыши
боится, смеющейся
тихо в ус.

И нам и мышонку
смешон тот слон;
от страха ночами
трясется он.
Над хныкалкой этим
смеяться всем детям —
и весел и крепок
их будет сон.

1927

**ЛЕТИТ ХОХОТОК —
БЕГУТ НА КАТОК!**

Командовавший фронтами
архангельских лесов,
чье оспинами тронута
квадратное лицо, —
толкнув носком упруго
шершавое стекло,
легко понес по кругу
сто семь своих кило.

И вслед ему поплыли
на ледяном ветру
сквозь блески снежной пыли
стенанья медных труб.
И, легкой каруселью
кружа людской поток,
морозное веселье
ворвалось на каток.

«Ходить друг к другу в гости? —
какой-то бас сказал. —
Забудьте это, бросьте,
вот это — бальный зал.
Ну, где такой, как этот, —
и он ладонь простер, —
скользящего потока
безудержный простор?!»

Здесь локоны, каштанясь,
сверкают в огоньках
под самый свежий танец —
танец на коньках.

Кто верит в свежесть смолоду
и в ясный смех,
тот не боится холода
и любит бег.

Скользите, ноги резвые,
быстрей, быстрей!
Стальные скальтесь, лезвия,
острей, острее!

Лети, чтоб дух захватывал,
к земле стелясь,
гони к чертям лохматую
мечтательность!

Дорожка залитая —
дыханье экономя.
Друг дружку облетайте,
бегун за бегуном.

Когда-то серый слесарь,
теперешний пилот,
смотри, как ловко срезал
фигурным ходом лед!

И вестником крылатым
летающий чемпион, —
он служит за прилавком
в МСПО.

Скользите, ноги резвые,
быстрей, быстрей!
Звените сталью, лезвия,
острей, острее!

Далеко на Девичке
мелькают рукавички.
Глаза, сверкайте ярче
на Патриарших!

И, быстрыми тенями
сменясь, кружись,
веселого «Динамо»
льдяная жизнь.

И, легкой каруселью
пустив людской поток,
морозное веселье,
кружи каток!

1928

КОНЕЦ ЗИМЕ

Бабахнет
 весенняя пушка
 с улиц,
завертится
 солнечное ядро;
большую
 блистающую
 сосуюлю
бросает
 в весеннюю грусть и дрожь.
По каплям
 разбрызгивается холод,
по каплям
 распластывается тень;
уже мостовая
 свежо и голо
цветет,
 от снега осиротев.
Вот так бы
 и нам,
 весенним людишкам,
под гром и грохот
 летучих лучей
скатиться
 по легким
 сквозным ледышкам

в весенний
пенный,
льютный ручей.
Ударил в сердце
горячий гром бы,
и радостью
новых,
свежих времен,
вертушкой
горячей солнечной бомбы
конец зимы
чтоб был заклеимен!

1926—1927

У МАЯ МОЕГО

У мая моего
лицо худое
и ярок рот
от песни боевой.
И грозные глаза
за льдов слюдою
у мая моего.

У мая моего
и шарф и кепка,
как паруса
над бурной мостовой.
И глянцевая куртка
блещет крепко
у мая моего.

От мая моего
не стану старше,
но, выучась
походке строевой,
совью всех дней
разрозненные марши
у мая моего.

От мая моего
немейте, будни, —
в его дыханье
ветер слоевой.

Нет праздника
свежей и светлолюдней,
чем — мая моего.

Для мая моего
стих тих и тесен, —
в его ли воле
говор краевой?..
Идите все
просите сил и песен,
берите все
у мая моего!

1926—1927

ПИОНЕР-ПЕСНЯ

Чьи песни бодрят
нам сердце с тобой?
Веселый отряд
идет мостовой.
Куда

они
спешат?

Туда, где жизнь свежа!
Про что

они
поют?

Про молодость свою!
Подставлены лица

свежему ветру.

Их годы не тронет

притихнувший недруг.

Среди распушившихся

зеленью веток

к их дням не подкрадется

сумрачный недуг.

Горят,

горят

невиданные весны.

Ступайте

в лагеря

под росы и под сосны.

Несут,
 несут
знамена и победы.
В лесу,
 в лесу
учиться и обедать.
Чтоб в жизни устроить
 весенний порядок
не только на праздничных
 стройных парадах.
Чтоб не было больше
 богатых и бедных.
Чтоб будни и войны
 исчезли бесследно.
Мы будем отвечать
не только на уроках,
заветы Ильича
мы выдвинем широко.
Заветы Ильича
везде, везде на свете
на выросших плечах
поднимем и ответим.
Шумите,
 зеленые
 свежие ветви.
Идите,
 свободные
 бодрые дети.
Идите
 крепить
 и отстаивать сами
знамена,
 что вашими
 взвиты отцами.
Идите,
 спешите
 на будущий праздник.
Чтоб не было
 розных
 и не было разных.

ЛЫЖИ

Мороз
 румянец выжжет
нам
 огневой.
Бежим,
 бежим на лыжах
мы
 от него!
Второй,
 четвертый,
 пятый, —
конец
 горе.
Лети,
 лети,
 не падай.
Скорей,
 скорей!
Закован
 в холод воздух, —
ажь дрожь
 берет.
В глазах
 сверкают звезды.
Вперед,
 вперед!
Вокруг
 седые ели.

Скользи,
нога.
Как белые
постелп,
легли
снега.
И тонкие
березы —
лишь ог-
ля-
нись —
затянуты
в морозы,
поникли
вниз...
На озере
синеет
тяжелый
лед.
Припустимте
сильнее
вперед,
вперед!
Легки следы
от зайцев
и
от лисиц:
ты с ними
состязайся —
несись,
несись!
Чтоб, —
если ветер встречный
в лицо
задул, —
склонился ты
беспечно
на всем
ходу.
На всем
разгоне бега, —

быстр
и хитер, —
схватив охапку снега,
лицо
натер.
Чтоб кричали сороки
от тех отваг,
чтоб месяц круторогий
скользил в ветвах.
Чтоб в дальних или ближних
глухих краях —
везде мелькала, лыжник,
нога
твоя.
Чтоб все, на лыжи вставши
в тугой черед, —
от младших и до старших —
неслись вперед!

1928

ВОЛОКОЛАМСК

Не гудеть
 о том
 колоколам,
святости
 не повестись
 отсюда...
Посетило
 град Волоколамск
никогда не слыханное
 чудо.
Продувай
 рубахи,
 ветерок:
ну, и понаехало ж
 народца!
В городе же —
 тысяч четырех
жителей
 и то не наберется.
Так тянулись
 из далеких сел, —
толпы
 только так
 бывали густы, —
если
 слух
 о новой вере
 шел

пли
 мощи открывала
 пустынь.
Над кремлем,
 осевшим,
 земляным,
куполами ржавыми
 рыжея,
думая,
 что это снова —
 к ним,
колокольни
 вытянули
 шеи.
Нет, не к ним!..
 И снова
 ржа их ест,
и немеют
 языки их
 болью...
А под ними
 празднует уезд
прочный переход
 на многополье.
На седых годов
 лихую супесь
навалившись
 рычагом плеча,
он темнел,
 подслеповато супясь,
лямки
 древней жизни
 волоча.
Чьи же силы крепкие
 смогли,
десять лет
 шатая понемножку,
вытянуть
 с исподмосковных глип
на века засаженную
 сошку?

Слушайте,
ценители природ,
томные
поклонники березок!
Видите:
он движется вперед —
наш веселый,
наш советский воздух!
Слушайте
и вы,
упорный агроном,
Алексей Арсеньевич
Зубрилин, —
годы битв
вам с каждым новым днем
волосы
недаром серебрили!
Годы битв
за крепкий,
свежий быт,
годы рубки старого
под корень.
Вот оно,
трепещет
и рябит
свежестью
взволнованное
море!
Вот он,
вами выжданный ответ:
ни за орден,
вправленный в петлицу,
ни за деньги —
не зажжется
этот свет,
этот смех,
сверкающий на лицах.
«Как пахали
мы сохой,
жили
с корочкой сухой,

с давними
 трехполками
выли вровень
 с волками.
Нынче
 линия не та —
не страшна нам
 темнота:
тьма
 по полю тычется,
в избах
 электричество.
Расскажите
 бабам вашим,
дальние
 приезжие:
тракторами
 землю нашем —
времена
 не прежние!
Наши
 кони
 кровные, —
строй
 дороги
 ровные:
жаль
 хорошего коня
по ухабищам
 гонять!»
Посмотрите:
 с самых дальних мест
к вам на праздник
 ваши гости
 едут
поглядеть
 на первый
 наш уезд,
одержавший
 над землей
 победу.

Раз вас согнули —
и два согнем,
и разотрем
на крошево!
Ваше оружие —
мелинит,
паника
и провокация;
наше —
уверенность,
ленинизм,
грамота,
электрификация.
В трубку скатайте
трехцветный флаг
и не пытайтесь
сравнивать:
волю,
спокойствие,
твердый шаг —
с взрывами
бешенства крайнего!

1928

НА БЕРЕГАХ ЯНЦЗЫ

На берегах Янцзы,
желтой большой реки, —
грохот глухой грозы,
молний тугих клинкп.

Будто там, говорят,
всё не так, как у нас:
лица, речь, и наряд,
и другая луна.

Это неверно, нет!
На берегах Янцзы
вот уже много лет
новый шумит язык.

Это — язык полей,
это рабочих спор
против всех королей,
против хлыстов и шпор.

Всюду его поймут —
дальний глухой призыв,
режущий ночи тьму
на берегах Янцзы.

На берегах Янцзы
ночь тепла и сыра.
Прячут в воду концы
серые крейсера.

Что они сторожат
 мраком своих бойниц?
Тысячи горожан,
 тысячи спящих лиц.

С самых горных высот
 в сумрачный океан
кровь и слезы несет
 желтый Янцзы-Кланг.

На берегах его,
 свет и радость согнав,
поджигатель и вор
 взвил боевой сигнал.

Космами рыжих грив
 в огненный круг зажав,
рвется за взрывом взрыв,
 плещет и жжет пожар.

На берегах Янцзы,
 желтой большой реки, —
долгий глухой призыв,
 раненой взмах руки.

Будто там, говорят,
 всё не так, как у нас:
лица, речь, и наряд,
 и другая луна.

Это неверно, нет!
 Судьбы у нас одни —
тот же долгий рассвет,
 те же грозные дни.

С самых горных высот
 ту же кровь в океан —
кровь восставших — несет
 желтый Янцзы-Кланг.

КРЕПИМ ОБОРОНУ

Чтобы в избу
 не забрался вор, —
каждый
 свой укрепляет двор;
чтобы бед
 он наделать не смог, —
каждый
 ладит к дверям замок,
чтобы
 взору худому
ходу не стало
 к дому.

Стынет
 перед советской межой
взор завистливый
 и чужой;
думы его
 о налете злом,
руки его
 примеряют взлом;
хочет он
 домогаться
наших земель
 богатства.
В памяти каждой
 еще свежа
наша
 разрушенная межа,

пбля
невспаханная тишь,
шапки
зажженных снарядами
крыш.

Помнят
однодеревенцы
злые дни
интервенций.
Чтобы от газов
никто не слеп,
чтобы убрать
и посеять хлеб,
чтобы над трубами
плыл дымок, —
в небо врежем
стальной замок;
с ним не бывать
урону,
все
крепим оборону!
Сколько тревожных
ночных забот
стоил республике
каждый завод?!
Сколько смертей
и сколько затрат
вынес каждый
рабочий отряд?!
Станем
на страже входов
фабрик своих
и заводов!
Электростанции,
ярче свети,
рельсопрокатные,
сдвойте пути,
грузчики
и шахтеры,
служащие
конторы, —

каждый следи
на своем посту,
ровно ли силы наши
растут,
не было чтоб
урону,
все
крепим оборону!
Лабораторий
гори заря:
наших ученых
крепчает ряд.
Всюду ли крепок
дружный труд,
цифры балансов,
добыча руд?
Голос свежеет
веский
нашей науки
советской.
Это знамя
и лозунг этот —
нового знания
единый метод;
накрепко
им объединены
жизнь
и путь
рабочей страны;
нет от него
урону,
им —
крепим оборону!
Не торопитесь,
пан поляк,
побывать
на наших полях;
зря стоит
за плечами
гувернер-
англичанин.

плавя руду,
раздувая мех,
помни,
каждый рабочий цех;
взор ученого
меток,
бодрствуй
в своих кабинетах.
Чтобы никто нас
пугать не смог
бешенством
подворотным, —
в небо повесим
стальной замок —
аэропланов
сотни.
Если они
поплывут, скользя, —
нас
никогда не тронут,
нас
никому подчинить
нельзя:
мы
крепим
оборону!

1928

СИНИЙ МАЙ, ВОЛЬНЫЙ КРАЙ...

Синий май,
 вольный край,
песню подымай!
За дверьми
 седеет старость, —
шум стервьячьих стай.
За дверьми
 седеет старость, —
древние лета;
бродят ненависть
 и ярость,
ложь и клевета.
За дверьми
 темнеет робость, —
тусклая свеча;
тихий посвист,
 тайный обыск,
черный день и час.
Синий май,
 вольный край,
глаз не отрывай:
по морям
 клокочет пена, —
помни,
 жди
 и знай!
По морям
 клокочет пена,
стелются белки;

СВЕЖИЙ ВЕТЕР

По Республике Советской
пролетели вести,
будто

все враги Советов
собрались вместе.

Будто

вновь их подбивают
сладкими речами
на Союз

напасть внезапно
лорды-англичане.

Стой, стой,

конный — пеший,
головы не вешай:
над Республикой

Советской
веет ветер свежий!

Будто

все они забыли,
как их тьма редела,
как они катились к морю —
аж земля гудела.

Будто

пятки отошли их
от тугой ломоты,
будто

вновь они мечтают
взять нас в пулеметы.

Веет ветер, завоевает
по траве росистой, —
веет ветер, задевает
черного фашиста.

Ходит

 туча градовая,
забивает в щели.

Дует ветер, выдувает
белых лордов челядь.

Стой, стой,

 конный — пеший,
головы не вешай:

над Республикой

 Советской

веет ветер свежий!

Вверх,

 вверх,

 бомбовозы,

все —

 в небо

 разом,

чтобы

 наш советский воздух
не глушило газом.

Вверх,

 вверх,

 круче,

 круче,

поднимайтесь выше,

чтобы

 враг из-за тучи
не слетел на крыши.

Стой, стой,

 конный — пеший,
головы не вешай:

над Республикой

 Советской

веет ветер свежий!

Чтоб
не под истерический,
яростный визг
и не как
брошенный вызов, —
мы ездить могли бы
друг к другу
без виз
и без выдающих
визы.

1927

на своем
 туманном берегу —
не мечты,
 а явственную правду,
видеть правду —
 к нам они бегут.
Дорогие леди
 и милорды,
я хотел спросить вас
 вот о чем:
«Так же ли
 уверенны и тверды
ваши чувства,
 разум
 и зрачок?
Каждый раз,
 как вы глядите на воду,
так же ль вы упорны,
 как они?
Прегражденный путь
 к олеонафту
так же ль
 вас безудержно манил?
Если ж нет, —
 то не грозите сталью:
для детей
 страны иной
мы теперь
 за синей далью
стали
 романтической страной»

1928

А чтобы снова
стал он смуглым,
над ним
углекопы
окрестных мест
жирным
нортумберлендским
углем
поставили
четкий
черный крест.
И плачут,
во сне просыпаясь,
дети,
когда зажелтеет
ночная тьма,
и их виденье
тускло осветит
желтый Томас,
желтый Фома!

1928

ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ

На Василии Кесарийском —
орлы с коронами.
Первый дом —
украшает славянская вязь...
Долго ль быть нам еще
старинной покоренными,
тупиками сознаний
в былое кривясь?
Я хожу
и на мелочи эти
досажую,
я дивлюсь
на расщепы орлиных голов, —
неужели же
и в годовщину десятую
не страшнет их
с карнизов и с куполов?!
Впрочем —
это остатки забытого прошлого,
неопасные,
как прошлогодний снег;
ледяное,
в осколки разбитое крошево,
с тротуаров
сметаемое по весне.
Нет!
Опять на меня
наплывают разъяренно

и кольцо,
 и печать,
 и бумага,
 и роспись;
 родовитая рожа
 тупого боярина
 в стародавних зазубринах
 дедовской оспы.
 А за ним,
 за печатью,
 кольцом,
 за кулисами, —
 добр и ласков
 кабальный хозяин покамест, —
 приказными ярыгами
 да стрекулистами
 выгнусавливается
 елейный акафист.
 И идут крестным ходом,
 с хоругвями рдяными,
 замирая
 от многоочитого счастья,
 в храм искусств
 омываться его иорданиями
 и пречистому делу его
 причащаться.
 А глухому —
 утрут скупую слезу его, —
 ведь из песни слова
 не выкинешь:
 жалко!
 И, со дна поднимаясь,
 в Орехово-Зуеве
 об уехавшем князе
 тоскует «Русалка».
 Я с годами теперь
 вразумленней
 и тише стал...
 Я сюжета ищущу
 попрочней
 да пошире.

Разве ж это не блажь,
не прямое мальчишество:
пред плакатом
прохожих собирать,
дебоширя?!
Я мотнул головой.
Что здесь явь?
Что из стари?
Так мечтой увлекаться!..
Ведь это же — пытка!
Разметайте
нам путь бороною,
бояре, —
это снова и снова —
простая агитка!

1927

БОЕВАЯ ТРЕВОГА

Хватит ссор
и скандалов семейных!
Строки,
стройтесь
крепче и резче:
вновь размечтался
о бывших имениях
с бывшим упрямством
бывший помещик!
И — пока мы здесь
разводим споры,
норовя
друг другу
въехать в рыло,
начищаются
малиновые шпоры
верноподданных
сторонников Кирилла.
Вынимают
горностаи,
молью траченные,
над конями
вырастают
раскоряченные.
Критики!
Скройтесь по сумрачным норам.
Ваше перо —
чьим вкусам радело?

Или вам
 довоенных норм
хочется
 до этих пределов?!
Эти ведь тоже —
 до самых хлястиков
влюблены
 в творения классиков.
Эти придут
 и начнут размазывать
идеологию
 Карамазова.
Надоело, мол,
 читать
стих канальевый.
Наши —
 вашим не чета:
восстанавливай!
Восстанавливай
 стиль амфир.
К черту всех,
 кто дружил с Советами!
Что же?
 Пусть хоть и «царь-вампир»,
да зато
 и венки с сонетами?!
Как тогда
 отнесутся крестьяне:
поощрительно
 или разъяренно
к вами излюбленной
 леди Татьяне
Лариной?
Станут
 с ними нянькаться
генералы-
 анненковцы?
Грянут:
 «Прячьтесь по домам,
с нами
 бог и атаман!

Мы решили
 врубиться
из-за рубежа.
Нет войны
 без убийства
и без грабежа!»
Кто
 тогда останется?
Леф
 и напостовцы?
Лежнев же
 потянется
снова
 на толстовство?
Нет,
 не найти вам
 другого ритма,
кроме того,
 что режет, как бритва.
Не зазвучит вам
 другая песня, —
эта пойся
 и в уши бейся:
«Пролетарий,
 не зевай,
всюду
 белых нагоняй,
где б они
 ни скрылися,
выметай
 с-под клироса!
Злую нечисть
 доконав,
жизнь крепи
 спокойную,
чтоб не пели
 дьяконá
нам заупокойную!»
•

СВЕТЛЫЕ БРОВИ

Шлем
 островерхий,
штык
 боевой,
нынче
 проверка
пути
 твоего.
Четок ли
 мускул,
светел ли
 взгляд,
бьется ли
 с музыкой
сердце
 в лад?
Там
 у союзного
ру-
 бежа
низко
 и грузно
тучи
 лежат.
В их ли
 сырой
и промозглой
 тьме
скроется
 солнце
от наших
 семей?

Солнце
 свободы,
езде
 алей,
взрывшее
 воды
снежных
 полей.
Света
 и воли
блеск
 над детьми,
мы
 не позволим
тебя
 затмить.
Локоть
 к локтю
на свежем
 ветру,
в громе
 и в рокоте
бурных
 труб.
Так,
 как свежеет
под ветром
 трава,
сразу
 движенье
марш
 оторвал.
Четок
 и ровен
стотысчий
 гул,
светлые
 брови
на каждом
 шагу.

Сердце,
засмейся —
пету
беда:
красно-
армейцев
стройны
ряды.
Словно
в озерах
с синей
водой,
светит
во взорах
день
молодой.
Их —
не приказом
в атаку
слать, —
воля
и разум
в их шаг
вросла!
Этих
не трогайте
в вольном
ветру,
в громе
и в рокоте
блещущих
труб.
Эти
не дрогнут
и
не отойдут,
светлые
брови
в каждом
ряду!

1928

ТУМАН, ТУМАН НАД ЛОНДОНОМ...

Туман, туман над Лондоном,
туман над Гайд-парком...
Довольно верноподанным
коптеть по кочегаркам!

Пойдем-ка полюбujemyся
без гордости и лести,
как тихи стали улицы
в старинном королевстве.

Долой, долой дурачества,
долой столетний навик!
Мы будем драться начисто
с толпой контор и лавок.

Пускай сирены выстонут
истину простую,
одну простую истину:
рабочие бастуют!

Наш лозунг прям и короток:
пускай пустеет Сити, —
мы сами сердце города
заполним и насытим.

А если мы не выдержим,
на шаг отступим если, —
ладонью лоб нам вытерши,
помогут из Ньюкестля.

А если залпы вырычав,
штыки на нас с разгону, —
на выручу, на выручу
ребята из Глазгоу!

Туман, туман над Лондоном,
туман над Гайд-парком...
Довольно верноподданным
коптиться кочегаркам!

1926—1927

ВСТАВАЙ, КИТАЙ!

Из ночи
тысячелетней выйдя,
гляди,
как мертва этих лиц белизна.
Европу
в ее настоящем виде
запомни ближе,
тверже узнай!
Ты больше не хочешь
чужой опеки,
конец
терпенью кули и рикш.
Шанхай,
Ханькоу,
Тяньцзинь
и Пекин
в один громовый
сгрудились крик:
«Тревоги ветер,
взлетай,
вставай,
рабочий Китай!
Ряды восставших
считай,
вставай,
Китай!»

И вот,
разогнавшись в рекордном рейсе,
по радио
грозный приказ трубя,
влетая на рейд,
за крейсером крейсер
бинокли орудий
вонзает в тебя.
Пади на колени!
В комок разбейся!
Нахмурилась грозно
банда воря.
В ботинке белом
нога европейца
вступает на берег,
расправу творя.
Тревоги ветер,
взлетай,
ряды убитых
считай!
Заря свободы,
светай,
вставай,
Китай!

Сжимает горло
гнева икота,
когда в азарте,
детей не щадя,
с колена хлещет
морская пехота
по мирным улицам
и площадям.
Когда в угоду
убийцам матерым,
которыми
полузадушен мир,
английским велено
волонтерам
из спин рабочих
устраивать тир.

выдавим в море
с материка.
Им не кричать,
издеваясь: «Цзоуба»¹,
им не толкаться
прикладом в грудь.
Ихних дредноутов
белые трубы
в море сумеем
мы повернуть!
Тревоги ветер,
взлетай,
рабочих мощь
испытай!
Заря свободы,
светай,
вставай,
Китай!

1926—1927

¹ Прочь! (кит.)

ОКТАБРЬ

1

Осенний ветер, свисти!
Нам счесть пора свести.

Не счет
вести
покойникам,
не оды
дням
писать, —
опять
за подоконником
темнятся
небеса.
Ты видишься
не издали,
но в лоб,
в упор,
в лицо
глядишь,
суров и пристален,
тревогой
и свинцом.
Из этих туч
вздохмаченных,
как
вздыбленный колтун,

чтоб
скудной продразверсткою
страна
прожить смогла.
Ты вновь
за сырю тяжкою
несешь
в мое окно
с распахнутою
шашкою
летающего
Махно.
Потом
над мглой обманчивой,
над
никлою травой
качаешь
атаманщины
разбитой
головой,

3

Один был защитой,
один был опорой
от бьющего плетью,
от рвущего шпорой!

Осенний
синий день,
сияй,
свети
со ста
дорог,
стократным
интервенциям
указывай
порог.
Вдаль,
на приволье высеясь,

расти
и вглубь
и вширь,
шатай
устой виселиц
и стены
белых бирж.
И дальше —
шаг свой вычекань
в походные
следы:
над
выработкой ситчика,
над
выплавкой руды.
И все это
уместится —
и холод
и тепло —
в одном-
едином месяце,
как в почке —
цвет и плод.

4

Волхов в древности был волшебным;
мы — с турбиной к нему, со щебнем.

Не счет
вести
покойникам,
не груз
времен
нести, —
опять
за подоконником
осенние
листы,
Над
вражескою сплетнею,

над
 злобною слезой
стоим
 десятилетнею
суровою
 грозой.

Над
 горечью последнею,
над
 шахтою сырой
горим
 десятилетнею
негаснущей
 зарей.

И как бы
 тяжки ни были
наш груз,
 наш рост,
 наш спор. —

в них нету
 капли прибыли
для
 блеска белых шпор.
Долой,
 мечтанья вздорные,
развейтесь
 чередой!

Лети,
 огонь,
 над черною
фашистскою
 ордой!

Скупою
 времени тратою
прядется
 дней полотно:
сегодня
 Октябрь
 Десятый
шумит
 и бьется в окно;

повсюду
растут ребята,
под шорох ремней
и пил,
которым
Октябрь
Десятый
сегодня
уже наступил.

1927

Чужая

1928

* * *

Глаза насмешливые
сужая,
сидишь и смотришь,
совсем чужая,
совсем чужая,
совсем другая,
мне не родная,
не дорогая;
с иною жизнью,
с другой,
иною
судьбой
и песней
за спиною;
чужие фразы,
чужие взоры,
чужие дни
и разговоры;
чужие губы,
чужие плечи
сроднить и сблизить
нельзя и нечем;
чужие вспышки
внезапной спеси,

* * *

Летят недели кувырком,
и дни порожняком.
Встречаемся по сумеркам
украдкой да тайком.
Встречаемся — не ссоримся,
расстанемся — не ждем
по дальним нашим горницам,
под сереньким дождем.
Не видимся по месяцам:
ни дружбы, ни родни.
Столетия поместятся
в пустые эти дни.
А встретимся — все сызнава:
с чего опять начать?
Скорее, дождик, сбрызгивай
пустых ночей печаль.
Все тихонько да простенько:
влечение двух полов
да разговоры родственников,
высмеивающих зло.
Как звери когти стачивают
о сучьев пустяки, —
последних сил остаею
скребу тебе стихи.
В пустой денек холодненький,
заежившись свежо,
ты, может, скажешь: «Родненький», —
оставшись мне чужой.

И это странно весело
и страшно хорошо —
касаться только песнею
твоих плечей и щек.
И ты мне сердце выстави
одним словцом простым,
чтоб билось только издали
на складках злых простынь;
чтоб день, как в винограднике,
был полон и тяжел;
чтоб ты была мне навеки
далекой и чужой!

1928

как проходит игла
сквозь ткань...
Как выдерживаешь
ты это?
Как слеза у тебя
редка?!
Не в любовном
пылу и тряске
я заметил
крепость твою.
Я узнал,
что ни пыль,
ни дрязги
к этой коже
не пристают.
И когда
я ломлю твои руки
и клоню
твоей воли стан,
ты кричишь,
как кричат во вьюге
лебедя,
от стаи отстав...

1928

* * *

День сегодня
 такой простой,
каких не сыщешь
 и — в сто.
Синь сегодня
 так далека,
будто бы
 встал великан.
Это ты,
 охлаждение мое,
молча встаешь,
 не поешь,
высветляя
 свое лезвие,
свой
 отпотевший нож.
И от таких
 безразличных глаз —
свет угасает
 враз.
Все затянулось
 и зажило,
и мне —
 не тяжело.
Все заровнялось
 и заросло:
не двигать ни рук,
 ни слов.

* * *

Оставьте.
 баптисты,
скучную
 проповедь, —
вам
 этих дней
все равно
 не отпробовать.
Тот —
 не уныл,
кто горечью
 хвалится.
Радость
 с луны
все равно
 не свалится.
Молотом,
 скальпелем,
клапаном,
 книгою —
сердце
 по каплям
волнение
 двигает.
Сердце мое,
волнуйся
 и стучай!

Жизнь —
 не очень
понятная
 штука.
Сердце мое,
тревожься
 и рвись
вниз,
 в глубину,
и — вверх,
 ввысь!
Свет твой
 вечный —
с открытой
 душой —
первой
 встречной,
далекой,
 чужой.
Шире
 и выше
взлета
 задор,
пока
 от вспышек
не сгинет
 мотор,
пока
 не сгаснет
горенья
 руда,
пока
 от сказки
не станет
 следа!

1928

* * *

Не будет стона сирого,
ни вопля, ни слезы;
идите, дни, боксировать
на рифм моих призы.

Бегите, физкультурники,
купать в ветрах лицо;
крутитесь, дни, на турнике
летучим колесом.

А ты, любовь, не высышься,
не грянься комом вниз,
на вытянутых бицепсах
бодрее подтянись, —

Чтоб, зубом заскрежещенный,
унынья скрылся лик;
чтоб все на свете женщины,
как звезды, зацвели;

Чтоб каждый взял на выдержку
безмолвья сон дурной;
чтоб каждый пел навывтяжку
натянутой струной;

Чтоб шла навстречь весна ему
тревожно и свежо;
чтоб не было незнаемой
и не было чужой.

РАБОТА НАД СТИХОМ

1929

ДЫХАНЬ ЭПОХИ

У Пушкина чаши,
у Гаршина вздохи
отметят сейчас же
дыханье эпохи.

А чем мы отметим
и что мы оставим
на нынешнем свете
на нашей заставе?

Как время играет
и песня кипит как,
пока меж буграми
ныряет кибитка.

И, снизясь к подножью
по ближним и дальним,
колотится дрожью
и звоном кандалным...

Неужто ж отныне
разметана песня
на хрипы блатные,
на говор хипесниц?

И жизнь такова,
что — осколками зарев
нам петь-торговать
на всесветном базаре?

Ей будто не додано
славы и власти,
и тайно идет она,
злобясь и ластясь.

С построечной пыли
я крикну на это:
«Мы все-таки были
до черта поэты!»

Пусть смазанной тушью
на строчечном сгибе
нас ждет равнодушья
холодная гибель.

Но наши стихи
рокотали, как трубы,
с ветрами стихий
перепутавши губы.

Пусть гаснущий Гаршин
и ветреный Пушкин
развеяны в марши,
расструганы в стружки.

Но нашей строкой
до последнего вдоха
была беспокойна
живая эпоха.

И людям веков
открывая страницы,
она — далеко —
как цветок сохранится.

Тасуй же восторг
и унынье тасуй же,
чтоб был между строк
он прочнее засушен.

Чтоб радостью чаши
и тяжестью вдоха
в лицо им сейчас же
дохнула эпоха.

И запах — душа, —
еле слышный и сладкий,
провеял, дыша,
от забытой закладки!

1928

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕЛЬЕТОН

Довольно
 в годы бурные
глухими
 притворяться:
идут
 литературные
на нас
 охотнорядцы.
Одною скобкой
 стрижены,
сбивая
 толпы с толка,
идут они
 на хижины
Леф-поселка.
Распаренные
 злобою,
на всех,
 кто смел родиться, —
грудятся
 твердолобые
защитники
 традиций.
Смотрите,
 как из плоского
статьи-кастета —
к громам
 душа Полонского

но вновь
скулите скверненько
с-под ваших крылец.
В веках
подъемлют зов они,
им нет урона.
Но мы
организованы.
Мы —
самооборона!
Чем злее вы,
тем лучше нам,
тем крепче
с каждым годом,
привыкшим
и приученным
к дубинам
и обходам.
Чем диче
рев и высвисты,
чем гуще
прет погромщик,
тем
песню сердца вызвездим
острей
и громче!

1927

КРАСНАЯ ПРИСЯГА

Выходи, товарищ,
из Красных казарм.
Враг еще коварен,
не бросил азарт.
Выходи и стройся
на ровном плацу.
Красному героюству
победы к лицу.
Сколько лет минуло —
большая пора!
Смена караула,
шагай на парад.
Время грозных былей,
сердца весели:
мы врагов разбили
и выбросили.
Сыты наши кони,
и крепок дом.
Нас никто не гонит —
мы сами идем.
Крепким, ровным шагом,
с веселым лицом.
Красную присягу
на сердце несем!
Пламенной и проще
греми, наш клич.
Выйдем мы на площадь,
где спит Ильич.

Выдержать без страха
атаку тьмы
над родимым прахом
клянемся мы.
Конница проходит
вокруг на рысях.
Нет на свете крепче
и тверже присяг.
Выше, самолеты,
в голубую гладь.
Нет на свете глубже
и тверже клятв.
Чисты наши дали,
и ветер свеж.
Мы врагу не сдали
своих надежд.
Мы врагу не сдали
сквозь гром и дым,
что отвоевали —
вовек не сдадим.
Сыты наши кони,
и крепок дом.
Нас никто не гонит —
мы сами идем.
Твердым, ровным шагом,
с веселым лицом.
Красную присягу
на сердце несем!

СПАРТАКИАДА

Все,
кто не слеп
и не глух,
и
не
стар,
все,
кому радость
и молодость друг, —
все
на
старт.
Все,
кому ложь
не закрыла глаза,
чей
остр
глаз, —
миру сегодня
должны
показать,
как
свеж
класс.
Слушай команду,
слушай меня:

вдаль
 смо-
 три,
страны другие
 перегоняй,
раз,
 два,
 три!
В нашем ряду
 никто не уныл —
мчись,
 рвись,
 правь!
В ногу,
 гимнасты и прыгуны,
вверх,
 вдаль,
 вплавь,
чтобы под небом,
 над землей,
над
 ре-
 кой
был поставлен
 и закреплён
наш
 ре-
 корд.
Рокот мячей,
 посвист ракет,
в синь
 блеск
 брызг.
Сила и свежесть
 в рабочей руке —
вот
 наш
 приз.
Слушай команду,
 слушай меня:

нам
 старт
 дан —
опережай,
 перегоняй
Ам-
 стер-
 дам!

1928

МЫ СПОРТСМЕНЫ

Воздух в городе
затхл и сперт,
наша ж молодость —
первый сорт:
нас закаляет и лечит
спорт.
Ветру мчащемуся
родня,
подрастает
день ото дня,
свеж и радостен,
наш молодняк.
Наших законов
сводка проста:
тело — конус —
на точку поставь,
шире плечи
и тоньше стан.
Утром — бодрым
проснись, проснись,
руки к бедрам,
не жмурь ресниц,
на носках
опускайся вниз.
Руки кверху,
глубокий вздох,
сил проверка
и сна итог,
чтоб по жилам —
горячий ток.

Свеж, как роза,
упруг, как репей,
без склероза —
не кури и не пей.
Чтобы не было
сладу с ней,
с жизнью ловкой
и радостной.
Чтобы,
жилист, гибок и гол,
вился в теннис
и в волейбол.
Чтобы полнились
славою
бег и гребля
и плаванье.
Чтоб при каждом
фабричном котле
встал выносливый
легкоатлет.
Чтоб дискболы
ярые
были в любой
канцелярии.
Кто не болен
и кто не стар,
принимайте
дружнее старт;
круче бицепсы, —
долже стаж,
разом высыпья
в синь и влажь.
Наша молодость —
первый сорт,
спицы в трепете,
руль на борт:
нас закаляет и лечит
спорт!

18 МАРТА

Еще не утро.
Париж недвижим...
Весенний ветер
над Парижем.
Под небесами
обмылок лунный
такой же самый,
что в дни Коммуны.
Еще не свержен
сумрак сонный,
храпят консьержи,
и спят гарсоны.
Лишь свежий ветер,
поднявшись рано,
времен
зализывает
раны.
Весенний ветер
взывает шипло:
«Она не сгубла,
она не сгубла.
Такое утро
на сны не тратьте,
откройте ставни,
сыны и братья!
Рассвет Коммуны,
размерцайся
огнем ответным
по версальцам!

По их протянутой
руке холеной
ударь
Вандомскою колонной!»
Весенний ветер,
свистя о мести,
летит
над крышами
предместий.
И тени,
светом
окрасясь алым,
по пригородным
бегут
кварталам.
«Неужто в утро
таких событий
вы так же мирно
и крепко спите?
Сорвите головы
с подушек:
он близок —
грохот
версальских пушек.
Пора услышать
их перекаты,
пора Парижу —
на баррикады!
Вы позабыли,
как на колена
они поставили
Варлена?
Вы позабыли
шеренги прочих
без счету
падавших
рабочих?
Такое утро
на сны не тратьте,
вставайте разом,
сыны и братья!

Оно —
над вашими
глухими снами
из рук подхваченное
знамя!»
Рассветный сумрак
весною дышит,
и, опоясан
зарей до крыш,
Коммуны знамя
все выше,
выше
глазами ищет
во сне Париж.

1929

ТРИ АННЫ

Раньше
 воспевали прроковую
женщину
 как таковую,
и от той привычки
 вековой
плохо приходилось
 «таковой».

Ревностью
 к романтике пылая,
классиков преданья
 сохранив,
всем,
 кого пленяет
 жизнь былая,
в женский день
 расскажем мы про них.
Женщина у предков
 траговалась странно:
как бы
 ни была она тиха, —
в гроб вогнав любовью,
 Донну Анну
полагалось
 воспевать в стихах.

Пяльцы,
 кружева
 да вышиванье,

бледность щек
и томность глаз,
воплотясь
в блудливом Дон Жуане,
возносил в ней
феодалный класс.
А когда она,
поверив слепо,
принимала
этих сказок вздор,
приходил
карать ее из склепа
оскорбленный в чувствах
Командор.
В прах распался
феодалный замок,
тонких шпаг
замглился ржавый шлак,
но от прежних
обреченных самок
женщина
далеко не ушла.
Тех же чувств
наигранных горенье,
то же
«Дона» Вронского лицо,
и другая Анна,
по фамилии Каренина,
падает
под колесо.
С Командором вровень,
схож по росту,
охраняя
давних дней устой, —
феодалов
каменную поступь
через труп ее
пронес Толстой.
И хоть брови —
небо подпирали:
«Мне отмщение, и аз воздам», —

покажись
какой-нибудь толстовец —
с бороды
утрет ему елей.
Скажете:
«Да это ведь агитка,
ждут живого
человека все».
Что ж,
портрет мой
не на рифмах выткан, —
ткал его
Ивано-Вознесенск.
И об нашей
Анне Куликовой
разговор немолчный —
на станках;
вон —
ее портрет опубликован
в номере десятом
«Огонька».
Не грозитесь,
«каменные гости»,
отойдите
в темных склепов тень.
Ваши Анны —
тлеют на погосте,
наши —
ткнут и вяжут
новый день.

МОЛОДОСТЬ ЛЕНИНА

Далека симбирская глушь,
тихо времени колесо...
В синих отблесках вешних луж
обывательский длинен сон.

По кладовым слежалый хлам,
древних кресел скрипучий ряд,
керосиновых тусклых ламп
узаконенная заря.

И под этой скупой зарей
к материнской груди приник
лоб ребенка — еще сырой,
и младенческий первый крик.

Узко-узко бежит стопа,
начиная жизни главу;
будут ждать гостей и поца
и Владимиром назовут.

Будут мыши скрести в углу,
будут шкапов звенеть ключи,
чьи-то руки вести иглу,
обмывать, ласкать и учить.

И начнет — мошкаррой в глаза —
этот мир мелочей зудеть,
и уйдет из семьи в Казань
начинающий жизнь студент.

Но земля рванет из-под ног,
и у времени колеса,
твердо в жизни веря в одно,
станет старший брат Александр.

По какой ты тропе пойдешь,
на какой попадешь семестр,
о, страны моей молодежь,
отойдя от своих семейств?!

Далека симбирская глушь,
тихо времени колесо...
В синих отблесках вешних луж
обывательский длится сон.

Он, — пока я кончаю стих, —
на портрете встав, на стене,
продолжая меня вести,
усмехается молодо мне.

И никак не уйти от глаз,
просквозивших через века,
стерегущих и ждущих в нас
взгляд ответный — большевика.

1929

ОНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Революцию сравнивают —
кто с вихрем, кто с любимой,
кто с тканью, кто с бурей,
кто с валом девятым, кто с дымом,
плывущим над взметывающимся
костром.
Костер отгорит, и любимая бросит,
умолкнут валы, и выцветет тканьь,
и будет волос одинокая проседь,
как пепел, горька и, как дымы, едка.
Октябрьская ж песня, без фальши,
таких без лепи,
не выдерживает сравнений.
Года не идут вспять,
с годами нельзя спать.

Года
не горят в дым,
нельзя
угасать им.
Годов
не сгасить пыл,
в них вечен
запас сил.
Ревели враги:
куда уцелеть им,
вшивым,
безграмотным,
пьяным
да нищим, —
а мы обернулись
десятилетьем,
нам — торжеством,
а им — кладбищем.
В притупленной злобе,
в звериной обиде
их тени бледнеют,
оружие ржавится,
но даже они
понимают и видят:
она продолжается.
Сердцам миллионов
с громадою биться:
кто лень отбивает,
кто с грязью сражается;
делам Октября
ни на миг не забытья:
они продолжают.
На плечи навьючив
тяжелые вьюки
госпланов,
госзаймов,
заданий
и дел,
идем,
как в семнадцатом
шли во вьюге,

Года
не горят в дым,
нельзя
угасать им.
Годов
не сгасить пыл,
в них вечен
запас сил.
Идти заодно
с годами всегда,
где руки не слабнут,
глаза не смежаются.
И знать,
и помнить,
и верить в одно:
она — продолжается!

1927

ДЕСЯТЫЙ ОКТЯБРЬ

Дочиста
пол натереть и вымести,
пыль со стола
убрать и смахнуть,
сдуть со стихов
постороннюю примесь
и —
к раскрытому настежь окну.
Руки мои —
чтоб были чисты,
свежестью —
чтоб опажнуло грудь.
К сердцу
опять подступают числа:
наших дней
начало и путь.
Сумерки
кровли домов одели...
В память,
как в двор ломовик, тарахтя,
грузом навьючив
дни и недели,
вкатывается
Десятый Октябрь.
Тысячи строк,
совершая обряд,
будут его возносить,
славословя.

думая:
ветром иной поры
лик вдохновенный их
творчески задран.
Меря землю
на свой аршин,
кудри и мысли
взбивая все выше,
так и живут
до первых морщин,
первых припадков,
первых одышек.
Глянут, —
а дум
облыселую гладь
негде приткнуть
одинокому с детства.
Финиш!..
А метили
мир удивлять
либо геройством,
либо злодейством..
Так жил и я..
Ожидал, пламенел,
падал, метался,
да так бы и прожил,
если бы
не забродили во мне
свежего времени
новые дрожжи.
Я не знал,
что крепче и ценней:
тишь предгрозя
или взмывы вала, —
серая
солдатская шинель
выучила
и образовала.
Мы неслись,
как в бурю корабли, —

Вот иду,
и мускулы легки,
в сторону не отойду,
не сяду.

Так иди
и медленно влечи
наш суровый,
наш Октябрь Десятый.

Стройтесь, зданья!
Высьтесь, города!

Так иди
бесчисленным веленьем
и движенья силу
передай
выросшим на смену
поколеньям.

Брось окно,
войди по грудь в толпу,
ей дано теперь
другое имя,
не жестикулируй,
не толкуй, —
крепкий шаг свой
выровняй с другими.

Стань прямее,
проще
и храбрей,
встань лицом
к твоей эпохи лицам,
чтобы тысячами
Октябрей
с тысячными
радостями
слиться!

сумей
попробуй
одну отличить
от тысячи
русских семей.
Шумит самовар,
поет соловей,
звенит бубенец
у дуги...
Живет человек,
растет человек,
один
темнее других.
Так рос и он
в глухой темноте
и вырос
над темнотой.
И брови не те,
и губы не те,
повадки
и складки —
не той.
Так вырос
и вышел он,
коренаст,
степей
знаток коренной,
и в смертную схватку
схватился при нас
с двужильною
старинной.
Большая страна,
глухая страна,
бездольная степь, —
и в ней
мерцанье штыков,
и взрывы гранат,
и ржанье
походных коней.
Как будто отходит
тумана стена

от наших
 домов и дней.
Как будто бы тает,
 синяя, она,
и даль
 все видней и видней.
Как будто в поход
 снялась темнота
от новой,
 советской межи.
И даль не та,
 и степь не та,
снялась темнота
 и бежит.
Замолкнул бой,
 и грохот затих,
и небо
 синей и синей.
И степь,
 на смерть старину захватив,
в обхватку
 борется с ней.
Из рабства грошей,
 из свиста плетей
страна
 гранатой взвита!..
И реки не те,
 и доли не те,
повадка
 и складка —
 не та.
Глядит
 симбирская даль и глушь,
родней своей
 велика, —
не в зеркало
 грязных дождливых луж,
а — в будущие века.

ОХОТА НА ОРЛОВ

На Василии Кесарийском — орлы с коронами.
Первый дом — украшает славянская вязь...
Долго ль быть нам еще стариной покоренными,
тупиками сознаний в былое кривясь?..

«Так получается»

Я писал стихи об орлиных крылах,
о змеиных расщепках двуглавых голов,
и кой-где понагнали стихи мой страх,
и кой-где поснимали орлов с куполов.
Мне гордиться строчкой на ум взбрело;
но не тем, что ей — прозвенеть в века, —
я гордился ею, как первой стрелой,
угодившей в цель, гордился дикарь.
Я ходил и думал: остри свой стих!

что реликвией древности
он взлетел
и что рифмой его —
все равно не собью.

Нет, детки!
Это вы не метки,
целитесь впустую —
в синь густую.
Будет глаз мой щуриться,
силы не щадя,
по московским улицам
и по площадям.
Будет стих мой целиться
и звенеть стрела
всюду, где расстелются
мертвые крыла.
Надо расстараться
в даях увидеть —
нет ли реставрации
где-нибудь следа.
Надо выжечь с корнем,
до малейших йот
этот древний горный
мертвенный полет.
Ибо —

что такое
фетиш?
Стань,
подумай
и ответишь.
Иду,
иду
по Москве дикарем,
и ты меня
не кори:
священною пляской
не покорен,
родные мои
дикари.
Иду,
чтоб меткость не умерла,

и рифму
мечу стрелой.
Я буду целиться
по орлам
и бить их
в грудь
под крыло!

1928

От кухни,
 пожалуй, уйти нелегко:
попробовали —
 довольны!
Читаю уж с месяц
 газету «Руль»,
скитаясь
 по белу свету.
Других
 и в руки совсем не беру:
в немецких киосках —
 нету.
Вторая страница —
 о большевиках
(про мерзость эту
 и скверну).
Неужто
 Европе к ним привыкать,
когда —
 раз плюнуть,
 и свергнуть?!
Пророчит Гессен
 блокаду к весне,
но лица
 унылы у белых...
Не знаю уж,
 что «объективно честней»:
мытьё
 иль битьё тарелок?
Читаю дальше,
 и шорох в ушах,
как скрипы
 мебели ветхой.
И ручкою — вольт,
 и ножкою — шарк,
и локоть
 изогнут салфеткой.
У Гессена
 газета сера,
крута
 генеральская каша...

Ответьте мне,
бывшие профессора,
в чем знание
и звание ваше?
Манишка в борще
и салфетка в руке...
Неужто ж
для старой знати, —
ответь мне,
сплошной зарубежный лакей, —
других
не нашлось занятий?!
Я знаю,
что, злобу в душе затаив
и жест округлив
широкий,
вы двинете...
лучшие блюда свои
в ответ
на мои упреки;
и сталью приборов
зловеще звеня
над строчкой
моею робкой,
вы, знаю,
блокируете меня,
стреляя...
нарзанной пробкой.
«Возмездие наше идет,
трепещи, —
тебе оно
будет сниться!
(На первое —
жирные русские щи,
второе —
по-венски пшницель?)
Судьба
до конца неизвестна еще, —
трясись,
большевик проклятый:

тебе мы
 предъявим когда-нибудь счет,
и час наступит
 расплаты!»
Я слушал, бледнея,
 грозящую речь:
был пафос ее
 так ярк...
Но —
 подали счет,
 и как камень с плеч:
всего лишь...
 пятнадцать марок!

1928

Здесь —
пограничников отряд
живет
и бодрствует в дозорах.
У снегового рубежа
стоит ночами,
сторожа
малейший звук,
тишайший шорох.
Их окружают
лед и сталь...
Предательски —
невинна даль,
и небеса
оцепенели.
Тропа ведет
пята в пяту,
и снег рассыпчатый
метут
на лыжах
длинные шинели.
Костер
под тяжкою полой
блеснет
сиреневой золой,
и струйка
тянется на запад,
и, ежа
черные носы,
врагов
сторожевые псы
картошки ловят
теплый запах.
Злой тишиной
окружена
вооруженная
страна —
не отразилась
в том костре ли?..
Лишь повернись
к нему спиной,

и будешь тьмой
и тишиной
сильней, чем пулями,
обстрелян.
Я не хочу
фальшивым быть,
литавры рвать
и в бубны бить,
но наш костер
на то рассчитан,
чтоб было
всюду видно им,
что мы не спим,
что сторожим,
мы —
угнетенных всех защита!..
Шинелей полы
тяжелы.
Огонь сверкнет
из-под золы,
и вспомнят
дали трудовые,
что тем огням
цветами цвествь,
что в мире
где-то правда есть
и этой правды —
часовые.
За Минском
даль лежит строга,
земля укутана
в снега,
но в каждой памяти
хранится.
Там,
где сосновая игла, —
пространств
и времени легла
красноармейская
граница,

Вон какая тишь,
голубая вся,
залегла меж крыш —
улыбается.

Если в старое
стыдно веровать,
пусть идет ко мне
племя пионерovo.

Пусть шагами стучит оно
близкими,
заливается
песнями-брызгами.

Мне пример брать
больше не с кого,
как с тебя,
житье пионерское.

Полюби ж меня
грязной, мокрую,
перекрой меня
краской охрою.

Чтоб бульвар в бульвар
длился правильно.

Чтоб асфальт заливал
все окраины.

Чтобы, глядя
в синие лужицы,
мне церковного звона
не слушаться.

Колокольный зык
пусть не дразнится
на призывы
вешнего праздника.

Мне не спину гнуть
под обрядностью,
мне бы чуть хлебнуть
новой радости!

Я несу весну
тонкой, хрупкою, —
не хмельному сну
пьяной рюмкою.

МЫ ЖИВЕМ...

Мы живем
еще очень рано,
на самой
полоске зари,
что горит нам
из-за бурьяна,
нашу жизнь
и даль
озарив.

Мы живем
еще очень плохо,
еще
волчьи
зло и хитро,
до последнего
щерясь
вздоха
под ударами
всех ветров.
Но не скроют
и не потушат,
утопив
в клевете и лжи,
расползающиеся
тучи
наше солнце,
движенье,
жизнь.

и горечь горела
на каждом листе,
но это бы
не беда еще!
Когда же небес
зеленый клинок
дохнул
студеной прохладой, —
у дня
не стало заботы иной,
как —
к горлу его прикладывать.
И сколько бы люди
забот и дум
о судьбах его
ни тратили, —
он шел — бессвязный,
в жару и бреду,
бродягой
и шпагоглотателем.
Он шел и пел,
облака расчесав,
про говор
волны дунайской;
он шел и пел
о летящих часах,
о листьях,
летящих наискось.
Он песней
мир отдавал на слом,
и не было горше
уст вам,
чем те,
что песней до нас донесло,
чем имя его —
искусство.

1930

ИДЕМ

Громадой раскаленную
широкий ветер, Май,
колонну за колонною
всю землю подымай!

Тревогу первомайскую,
земель глухой восторг
не скроют чинной маскою
ни Запад, ни Восток.

На Севере и Юге
сквозь сумерки пространств
узнают друг о друге
рабы далеких стран.

Не все греметь громами
привычна синева.
Пошли!

Идем!
Не захромали!
Идем!
Не унывай!

Не только половодье
да света полоса —
наш Май теперь заводит
иные голоса.

Не только выклик птичий,
наш Май теперь таков:

заводов переключка
да щебет верстаков.

Ночные страхи вычистив,
отставку дав луне,
мы пустим электричество
гулять по всей стране.

Зима не заколодит,
отзябнула зима...
И Май глаза наводит
на новые дома.

Ушла она, растаяв,
тут не о чем тужить,
и, стеклами блистая,
взлетают этажи.

Чем были встарь, измеряй-ка, —
лесная глушь да степь.
А мы теперь Америки
перегоняем темп.

Над новыми делами,
над тягостью полей
широкими крылами,
советский Май, алей!

Еще года стараться,
корпеть и изумлять,
но нынче демонстраций
котлом кипит земля.

Не все гудеть громами
привычна синева.
Пошли!

Идем! Не захромали!
Идем! Не отставай!

ПЕСНЯ ОДИННАДЦАТИ ЛЕТ

Стали тучи серыми,
хмурыми клочьями —
над пионерами
и над рабочими.

Сумрачны и пасмурны
думают: авось они
забоятся насморка,
сырости, осени.

Зажигайся в три часа,
электричество.

Собрали заранее
мы собрание.

Над погодой грязною,
хмуренькой, мокрою
брызнем краской красною,
суриком, охраю.

Взвейте краски юности
и труда —
нет от серой хмурости
и следа.

Знамена вынесите,
выбив пыль, —
Октябрь одиннадцатый
наступил.

Колонны двинутся, —
сколько им лет?

Один: «Одиннадцать!» —
один ответ.

Кто идет
в культурный поход?
Мы с тобой
по мостовой!
Шеренги выстроив,
каждый дом
походкой быстрою
обойдем.
На задворках лом, лом,
лом железный;
мы его соберем —
он полезный.
В человечье месиво
вклинивайся весело.
Все задворки вызови
для ревизии.
Наклонись, прислушайся
над одними:
кто упал, споткнувшись, —
мы поднимем.
А безногий хлам, хлам
нам не жалко;
кто в кабак да в храм, в храм,
тот — на свалку!
Кто идет
в культурный поход?
Мы с тобой
по мостовой!
С бывшим панством
рядом ложись,
матом да пьянством
залитая жизнь.
Место — пусто,
в ряд улягайся:
чванство, да буйство,
да хулиганство.

пусть
 молодости приход
их
 с кожи дней
 соскребет.
Не тем,
 кого жизнь согнет,
кто
 тропок ищет кривых;
не тем,
 кто за пачки банкнот
цепляться
 с детства привык, —
привет,
 привет наш таким,
кого
 породил труд,
в чьем сердце —
 значок КИМ,
чьи годы
 ведет МЮД.
У них
 такие глаза:
ни робости,
 ни владык,
как Хлебников
 предсказал,
воспев
 союз молодых.
Не думай,
 что ты силен,
что выделен
 ты судьбой:
будь равен
 с самых пелен
с таким же —
 кто рос с тобой.
Не думай,
 что ты умен,
умней
 и красивей других:

на страже
 новых времен
их дни
 часовым стереги.
Юнгштурма
 форма одна,
носи же ее
 ловчей
и помни —
 она родна
для всех
 молодых плечей.
Зачванишься —
 оборвут,
вскуражишься —
 засмеют:
на свет,
 на жизнь,
 на борьбу
идти призывает
 МЮД.
Привычную
 к снам и чинам
мы жизнь
 перетрусим до дна,
и новый год
 начинать
мы будем
 с нашего дня.
Друг друга
 тесней держись,
пусть руки
 весь мир обоймут:
на свет,
 на борьбу,
 на жизнь
скликает отряды
 МЮД!

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Сто довоенных
внушительных лет
стоял
Императорский университет.
Стоял,
положив угла во главу
умов просвещение
и точность наук.
Но точны ль
пределы научных границ
в ветрах
перелистываемых страниц?
Не только наука,
не только зудеж, —
когда-то
здесь буйствовала молодежь.
Седые ученые
в белых кудрях
немало испытывали
передряг.
Жандармские шпоры
вонзали свой звон
в гражданские споры
ученых персон.
Фельдъегерь,
тех споров конца не дождав,
их в тряской телеге
сопровождал.

И дальше,
 за шорох печористых рек,
 конвойным их вел
 девятнадцатый век.
 Но споров тех пылких
 обрывки,
 обмылки
 летели, как эхо,
 обратно из ссылки.
 И их диссертаций изорванных
 клочья,
 когда еще ты не вставал,
 пролетарий,
 над синими льдами,
 над царственной ночью,
 над снами твоими,
 кружась, пролетали.
 Казалось бы — что это?
 Парень-рубаша,
 начитанник Гегеля
 и Фейербаха,
 не ждя для себя
 ни наград,
 ни хваленья,
 встал первым из равных
 на кряж поколенья.
 Да кряж ли?
 Смотрите —
 ведь мертвые краше
 того,
 кто цепями прикован у кряжа,
 того,
 кто, пятой самолюбье расплющив,
 под серенькой
 русского дождика
 хлющей
 стоит,
 объярмован позорной доскою,
 стоит,
 нагружен хомутовой тоскою.

На взвитые к небу
казацкие плети,
на разноголосые
гулы столетья,
на выкрик,
на высверк,
на утренник тот,
чьим блеском
и время и песня
цветет!

1929

станут
напряжением
в миллионы вольт, —
все,
за что б
ни взяли вы рукой,
и обо что б
ни коснулись полой,
станет
зарядом
раскалки такой,
чтобы сравнять вас
мгновенно
с золой.

Господин Тейер,
господин Фуллер,
мир
не посадишь
на электростулья.

Но если этих...
Но если только
к ним прикоснетесь вы
трепетом тока, —
вот вам
ваш будущий адрес
точный:

вас не укроют
стены палаццо —
вниз головою
в канаве сточной
будут ваши трупы
валяться!

Не подумайте,
что я ругаюсь,
к мстительным фантазиям
ретив;

это вы зовете
черный хаос,
землю
в место пыток
превратив.

Наша жизнь
на весу,
ваша —
в наст уляжется.
Через вас
пронесут
лыжи
наши тяжести.
Наши залы —
малы —
ледяные стволы, —
мы летим
с поклонами
между их колоннами.
До свиданья,
Москва,
прощевай,
Сокольники, —
ждет
в деревне братва
нас
на подоконнике!

1930

ДОРОГА

1

Мир

широк и велик
с пути полета,
но хвалит
каждый кулик
свое болото.

Пускай

и в земную треть
гнездо куличье,
хочу лететь —
осмотреть

земли величье.

Дыши шумней,

паровоз, —

зима седая.

Кружись,

лесов хоровод,

вниз оседая...

Как быстро

вдаль ни бежит

твой путь, — он робок;

глумясь,

встают рубежи

в крутых сугробах.

И хватит ли
лет полста
твоей тощици,
чтоб
гладью дорог-холстов
был грунт расчищен?
Товарищи
и творцы,
болото — шатко:
скорей
подвози торцы,
границ брусчатку.
Пусть там,
где вилась морошка
да голубица,
асфальтовая
дорожка
в тень углубится.
Пусть там,
где лишь филин ухал
во мгле трясины,
шуршит
хорошо и сухо
прокат резины.
Пусть каждому
станет дорог,
как голос близкий,
гудок
и знакомый шорох
сквозь пыль и брызги.
Чтоб нам бы
не тише ехать
вдаль, без задора —
пусть всюду звучит,
как эхо,
зов Автодора!

стоградусного накала,
чтоб жар ее,
набранный за ночь,
сберечь,
чтоб пламя
не затухало.
Зачем им приспела
такая спешка?
(Голос с глубокого тыла.)
Нельзя подождать было
разве,
чтоб печка
остыла?
Нельзя подождать
ни стиху,
ни станку,
ни шахте,
ни забую,
чтоб сразу с движенья
себя не столкнуть,
не стать
в разноречье с собою.
Кто ж эти двое?
Брюнеты? Блондины?
(Голос с далекого сбоку.)
Но стих отвечает:
не все ль едино,
не все ли равно
глубоко?!
Я знаю:
они в раскаленной печи
укладывали
выпавшие кирпичи.
Вопросы ж —
какой они масти и роста —
одно любопытство
просто.
Строку лихорадит
стоградусный жар,
работа торопит:
«Скоро!»

И если перо
 разъедает ржа, —
вперед,
 карандаш рабкора!
Вперед карандаш,
 на стоустый рассказ
уколом,
 рывком карандашь их!
И если ты
 с первого же броска
нагрева
 не передашь их,
то зря будешь после
 их профиль и цвет
раскрашивать
 в длинную повесть, —
она сохранится
 на несколько лет,
но это уж будет
 не новость.
Их случай
 сейчас же примерь и приметь,
сейчас же в работу
 его нам.
Их дело
 немедля
 должно загреметь
раскатом по миллионам!
Двое вошли
 в раскаленную печь,
полную
 душного жженья,
и ты
 от забывчивости обеспечи
вот это вот
 их движенье.
Старинный мудрец
 говорил про то,
что дважды
 не влезешь
 в один поток.

Товарищ,
 будь же начеку:
на теле нашем — рана,
не дай зиять
 прогульщику
прорывом промфинплана!

Гремят станки
 вперегонки,
даешь напор что надо!
Кто впереди?
 Ударники,
ударная бригада!

И день и ночь,
 и день и ночь —
удар направлен метко!
Расти, расти —
 рабочих дочь,
Союза пятилетка!

1930

Ударник
 плечо подставляет свое
заплатой
 в прореху прорыва.
Чтобы
 шла работа хлеще,
без тоски,
зажимай
 лентя в клещи,
жми в тиски!
Чтобы
 шел сильней и гулче
говор вокруг:
расточитель
 и прогульщик —
белым друг!

В сквозные бригады
 вступил
 молодняк,
но нет —
 старики
 ни на шаг не отстанут,
и будет сейчас же,
 на этих же днях,
разрез
 промфинплана
 затянут!
Брось трезвонить
 и трепаться,
водолей!
Непролазных
 нет препятствий:
одолей!
Непорядки,
 неполадки
подтяни!
Стоп!
 Кончай играть в прятки,
летуны!

Заводский буксир
перешел пережат,
и прочные кладки
над прорвой кладутся,
и всюду,
где крепость
ударных бригад,
растет
повышение продукции.
Кто там силу
экономит?
Зорче глаз!
Подымает
вверх манометр
ярость масс.
В лоб вредителю
и гаду —
бей, не бойсь!
ТЕМП!
Ударная бригада,
крой насквозь!

1930

**МАРШ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПИОНЕРСКОГО СЛЕТА**

Мы —
 пи-
 онеры
 СССР.
Слушайте
 голос наш
 все, все, все.
Голос наш — громок,
бить в цель — не промах,
голос наш — весел,
выше всех кресел,
громче
 пар-
 ламентских сессий,
 сэр, —
рокот постройки
 СССР!

Нас
 солидарность
 рабочих
 шлет
на пи-
 онерский
 всемирный слет.
Крепкие крылья
всюду раскрыли:

вольным полетом
мчим над болотом.

Знаем:

истории
роет
крот
крепость фашистскую —
злой оплот!

Мы —

пи-

онеры

СССР.

Голос наш

слушайте

все, все, все.

Голос наш — громок,

в цель бить — не промах,

голос наш — весел,

выше всех кресел,

выше

пар-

ламентских сессий,

сэр, —

голос свободный

СССР!

1930

МУЗЫКА С ВЕДДИНГА

Вот опять
забурлила
окрест тишина.
Металлистов
Берлина
оркестр — начинай,
начинай
нашу музыку
в Нейкёльне,
чтоб
хозяев печенки
заекали!
Кто думал,
что мы замолчали,
тот врет.
Сильнее,
чем было вначале, —
Рот Фронт!
Уставились
пулеметы
в наш круг.
Сведен в кулаки
до ломоты
лес рук.
Под липами
редкого леса
желт лист.

Дубинок резиновых
резок
и зол свист.
Эй-эй,
закрывают все окна —
встал класс,
никто не отступит,
не охнет —
встал класс,
никто не устанет,
не всхлипнет —
тверд рот.
На площадь,
где властвует Либкнехт, —
Рот Фронт!
Вот опять
забурлила
вокруг тишина.
Под ногами
Берлина
земля зажжена.
Как хозяин
напуган
и бледен как:
начинается
музыка
с Веддинга!

1929

ПЕРВОМАЙСКИЕ СИГНАЛЫ

Горнист, поднимай трубу!
Сбирай детворы гурьбу
на радость, труд и борьбу!

Зеленая ветка,
пушись по лугам!
Шуми, пятилетка,
на радость нам,
на радость нам,
на зависть врагам,
на ровный подъем
пионерским шагам!

Раз, в ногу,
в ногу, раз,
раз, в ногу!
Нас много,
много нас,
нас много!
Вей, знамя,
знамя, вей,
вей, знамя!
Кто с нами,
тот скорей
в ряд с нами!

У пчел не отнимешь
их мед и воск.

У Первого мая
не мало войск.
Не свалишь пульей
весенних дней.
Рабочий улей,
шумы грозней!

Раз, в ногу,
в ногу, раз,
раз, в ногу!
Нас много,
много нас,
нас много!
Бей, бубен,
бубен, бей,
бей, бубен!
В бой буден
не робей,
в бой буден!

Весенних почек
не удержишь расцвет.
Мы — дети рабочих
победных лет.
Мы — весен разведка,
и путь наш прям.
Шумы, пятилетка,
на помощь нам!

Трубу поднимай, горнист!
Коммуны май, развернись,
земли опояшь карниз!

Раз, в ногу,
в ногу, раз,
раз, в ногу!
Нас много,
много нас,
нас много!

Вей, знамя,
знамя, вей,
вей, знамя!
Кто с нами,
тот скорей
в ряд с нами!

1930

ГЕРОИКА

1930

В ОДНОЙ СТРАНЕ

Пионерская плотва,
комсомольская братва,
старые партийцы,
чья блещет честь,
сегодня вам гордиться
навек чем есть!
Живое сердце Ленина, —
гляди, гляди, —
проносит поколение
в своей груди.
Оно не остановлено,
стучит оно —
тобой, людская новина,
оживлено.
Меняет осень на зиму
десяток лет.
Его большому разуму
проложен след.
Его движеньем тронется
ко всем, всем, всем
на помощь легкой конницей
РЛКСМ.
По будням нашей стройки
с низов и до высот

неслабнущей героики
напор несет.
Другие страны, вымокши
без смен в поту,
глядят: он жив, не вымышлен,
растет вот тут.
Пускай глядеть пестро им
на свет из теней,
но мы его построим
в одной стране.
Лети же легкой конницей
за ним по пятам,
пока к земле не склонится
старик-капитал.
Из лучших лучший призван
в ВЛКСМ,
и знамя коммунизма
над всем, всем, всем.
Не будет он поруган
и втоптан в грязь,
за это вам порукой —
со сменой связь.
Жужжать пчелиным роем
тугой струне,
пока его мы строим
в одной стране!

1928

АНГЛИЙСКОМУ РАБОЧЕМУ

Далекий товарищ,
тебе ли не видеть рабочий английский,
 опасности близкой?!
Ее не прогонишь
 сочувственным вздохом
по сумрачным шахтам,
 по стонущим докам.
Она поднимается
 медленно кверху
раскатами лязга
 и дымом над верфью.
Она растекается
 визгом и стоном
по броненосцам
 тысячетонным.
По каждому делу,
 по каждому звуку,
повсюду,
 куда поднимаешь
 ты руку.
Далекий товарищ,
 английский рабочий,
неужто ты
 будущим
 не озабочен?
Неужто плечо твое
 бодро и радо

НАНКИН ГОРИТ

Суша, греми!
И море, ори!
Выгнанные
англичане и янки
Нанкин разрушили!
Нанкин горит,
освобожденный
от нечисти Нанкин!
Как бы вы после
на сотни ладов
о стариках
и о детях ни пели, —
нет,
поджигатели городов,
мир не забудет
об этом деле!
Вы не потушите
этой зари,
вы не залепите
золотцем уши:
Нанкин разрушен,
Нанкин горит,
Нанкин пылает
от Англии пушек!

1927

КОМИНТЕРН

Они войдут,
они вольются —
батрак и раб —
в тебя,
 грядущих революций
всемирный штаб.
Они войдут,
 преображая
твердыни дней,
и станет им
 земля чужая —
землей своей.
Она взлетит
 волной широкой —
ветров гроза,
метнув
 песочницу Марокко
врагу в глаза.
Они восстанут
 в гулах гонга,
под вой зверей
из зарослей
 глухого Конго,
подняв свирель.
Жарой тропической
 пылая,
под свист и смех,

они взовьют тебя,
Малайя,
над злобой тех,
с кем
им и стоит только драться,
вконец сразив,
с единственно чужой нам
расой —

буржуазий!
Тугих бичей
над нашей шкурой
рокошет град,
но их низложит
диктатурой

пролетариат.
Они еще
темны и глухи
к земным цветам,
но по рядам
летают слухи,
что где-то там —
в стране далекой
и холодной,
в стране снегов —
готовит гром
народ свободный
на их врагов.

Идут,
сгибая спины мерно,
и ноги в кровь,
но знают:
имя Коминтерна —
их общий кров.
Они войдут,
они вольются —
батрак и раб —
в тебя,
грядущих революций
всемирный штаб.

ВОЗДУШНЫЙ МАРШ

Крыл полированных
сверк:
наши аэро —
вверх,
наши аэро —
новая эра,
наши аэро —
вверх!

Сердце безмолвью —
дай,
чтоб загудела
даль,
чтоб загудела
даль без предела,
летчик —
в небе тай!

Рокот
широких стай,
сталью
вверху блистай!
Нашим пилотам
плыть над болотом,
оздоровляя
край.

Если густа
 саранча,
враз с саранчой
 кончай.

Неурожаем
край угрожаем —
край
 из беды выручай!

Если ж
 сомкнут враги
над головой
 круги,
рокотом гнева
справа и слева
край
 от врага стереги!

Злая угроза,
 сгинь,
неба
 заселим синь!
Вражьи пилоты,
в наших широтах
нет ни рабов,
 ни рабынь.

Крыл полированных
 сверк,
чтобы наш день
 не смерк!
Наши аэро —
воля и вера,
плавно и ровно
 вверх!

1928—1930

**ПРОГУЛКА ПО ЛЕСУ
РЕДАКТОРА «ФОРВЕРТСА»**

От пышных дворцов
до рабочих нор,
от шумного Веста
по скромный Норд —
Берлин,
не очень до смеха охочий,
над этим
покатывается — хохочет!..
Редактор Шварц
обожает почет,
слюна на почет
у Шварца течет.
В пределах
редакции «Форвертса»
он
собственной славой
кормится.
Не очень известен
товарищ Шульц,
но чует Шульц
улицы пульс,
идя,
как все коммунисты,
своим путем
каменистым.
Сияет Шварц,
редактор эс-дэ,

«Чтоб качка автобуса
вас не трясла,
позвольте
за вами машину прислать».
В восторге
от тонкого такта
расшаркался в трубку
редактор.
Машина подходит
на мягком ходу,
в окошко ей машет редактор:
«Иду».
Доволен
почетом по чину,
влезает он
гордо в машину.
Берлин покидая,
машина — в лесок...
У Шварца
от страха
седеет висок:
влекут его
в страшное место,
как встарь
умыкали невесту.
Пока же
везли уважаемый куль,
на радиостанции
выступил Шульц,
назвавшийся Шварцем,
но кожей
ни капли
на Шварца не схожий.
Не веря
радиоушам,
дрожит
буржуйская душа.
И жмет
плотней и туже
рабочий
к трубке уши.

Как гром,
 призыв пронесся:
«Кто —
 против броненосца?
Компартией
 речь елейная
редактора Шварца
 снята.
Да здравствуют
 страны Леннна
и Либкнехта!
Довольно
 лоснить словами
полптику
 мелких жульств —
не Шварц
 говорит с вами,
а коммунист Шульц».
Шварц из леса
 вернулся цел,
он время провел
 плохо там.
На утро же
 Берлин на корточки сел
от неудержимого
 хохота.
«Форвертс» вышел
 серый от злОб,
но кроме —
 не было грустного,
и не было никого,
 кто б
ему
 и броненосцу
 сочувствовал.

туда,
 где тают тучи,
взлетай,
 наш самолет,
все круче,
 круче,
 круче!
Недаром
 лил с нас пот
и гнулись
 спины ночи:
он —
 вот он,
 вот он,
 вот —
несется
 и хохочет!
Лети
 и хохочи,
распластывая
 крылья,
про общий
 наш почин,
про общие
 усиля;
чтоб каждый
 сдвиг руля
был точен
 и рассчитан;
чтоб плыл ты,
 вдаль руля,
нам общию
 защитой;
чтоб пара
 крепких рук
невидного
 пилота
вела
 высокий круг
всеобщего
 полета;

воздушное
 плато
чтоб было
 голубое;
а ты —
 чтоб вверх готов
всегда
 без перебоя;
чтоб ты
 всегда гремел
и был
 своим мотором;
чтоб длился
 твой пример
бесчисленным
 повтором;
чтоб,
 крылья вверх воздев,
наш ум
 и слух бодрили
возникшие
 везде
раскаты
 эскадрилий!

1930



КУРСКИЕ КРАЯ

1930

ВСТУПЛЕНИЕ

1

Хоть и у тебя немало мокрых
свежих рощ — лишь щеки утирай, —
я тебя не славлю, курский округ,
соловьиный край.

Что мне вспомнить? Чем меня дарила
родина щербатая моя?
Рытые да траченные рыла —
пьяные дядя да кумовья.

Со времен забытого удела
на веки веков
здесь земля не струнами гудела —
громом волосатых кулаков.

Били в душу, душу выбить силась,
а потом — иди ищи,
кто пустил густую кровь с потылиц,
чьей свинчаткой свернуты хрящи.

Поднимались, падали, сходились
городские против слободских,
плакали, судились,
торговали, и — не стало их.

Вновь родившись, петь пытались снова,
но, звериным воем захрипев,
из зубов, расшибленных с полслова,
выпадал напев.

И зари пустынное сиянье
над быльем постылого мирка —
над Путивлем, Суджей, Обоянью
гасло, отсверкав.

2

Бор дремучий над рекой гремучей —
это только песенный галдеж,
а на деле — не изловишь случай,
так и пропадешь.

А на деле — скривленные ивы,
серый свет, что будний день зажег,
Тускори, холодной и ленивой,
плоский бережок.

Что ж сказать на путь и на прощанье
вам, что, в темень времени сбежав,
все еще грозитесь мне, мещаньи
выселки с глухого рубежа?

Стойте ж да бывайте здоровеньки!
Вас не тронет лесь или хула,
Люшенка да Нижни Деревеньки,
тенькавшие в донь колокола.

Стойте крепче. Вы мое оплечье,
вы мои дедь и кумовья,
вы мое обличье человечье,
курские края.

ДОМ

Дом стоял у города на въезде,
окнами в метелицу и тьму;
близостью созвездий
думалось и бредилось ему.
Било в стекла заревое пламя,
плыл рекой туман;
дом дышал густыми коноплями,
свежестью, сводящею с ума.
Он хотел крыльцом скрипучим дергать,
хлопать ставней, крышей грохотать;
дом хотел шататься от восторга,
что вокруг такая благодать;
что его, до стрех обстав, подсолнух
рыжей рожей застил от других,
точно плыл он на прохладных волнах
калачей и лопухов тугих.
Что с того, что был он деревянным,
что, приштопан к камню, в землю врос, —
от него тянулись караваны
свежих рощ и вороненых гроз.
Он кружился с ними, плыл и таял
и живущим помыслы кружил;
до него от самого Китая
долетали синие стрижи.
Он кружился и гримасы корчил,
млея огнями, тьмою лиловел,

и его ветров весенних кормчий
вел других ковчегов в голове.
А когда рябила осень лужи
и брало метелицей кусты,
дому становилось хуже:
он стоял примолкшим и пустым.
Только это — с улицы казалось,
а внутри он полон был и жив;
даже если вызывал он жалость,
сам себя, смеясь, ловил на лжи,
так как — зорь зарозовевший иней,
стекло заалмаженный узор,
вспыхивал и цвел, как хвост павлиний,
синей и зеленой бирюзой.
И, дымясь под первую порошей,
коренастый, тихий, небольшой,
он вставал опять такой хороший,
со своею дымчатой душой.
И, тепло запечное не тратя
и забив оконные пазы,
по косым линованным тетрадам
он твердил столетние азы.
И, такой же тишью невредимы,
заморозком взятые в тиски,
по соседству подымались думы —
буден безголосые свистки.
В доме — плыли тени
кошки, кружки, фикуса, луны,
детских откровений и смятений,
тишины и старины.
Сквозь пазы растрескавшихся кафель
плыл жарок и затоплял края,
где басовый стариковский кашель
гул вливал в разохшийся рояль.
В доме пели птицы —
сойки, коноплянки и клесты.
И теперь еще мне щебет снится,
зори, росы, травы и кусты.
И теперь... глаза бы не глядели,
уши бы не слушали иной,
кроме той передрассветной трели,

что будила детство за стеной.
И когда, тавровое мещанство,
я теперь смотрю тебе в глаза,
я не знаю, где я умещался,
кто мне это в уши насказал.
Может, в клетке, может, из-за прутьев,
горькой болью полный позарез,
в сны мои протискивался грудью
свежезаневоленный скворец?!
Потому не дни, не имена я, —
темный страх в подзорье затая,
лишь тебя по бревнам вспоминаю,
дом мой, сон мой, ненависть моя!

1926—1927

ДЕД

Травкою зеленой одет,
лукавя прищуренным глазом,
охотничьим длинным рассказом
прошел и умолкнул мой дед.

Забросив и дом, и жену,
и службу в Казенной палате,
он слушал в полях тишину,
которой за подвиги платят.

Сверкала его «лебеда»
на двести шагов без отказа,
и зверю из черного лаза
двуногая мнилась беда.

Медведицы жертвенный рев,
на лапах качавшейся задних,
когда выступал медвежатник
из мрака безмолвных деревьев.

И зимнею ночью он шел
с волками на честную встречу,
и ахало эхо картечи
по займкам заспанных сел.

Какой там помещичий быт, —
он жил между сивых и серых,
в оврагах лесов и пещерах,
прошедших времен следопыт.

И я, его выросший внук,
когда мне приходится худо,
лишь злую подушку примну,
все вижу в нем Робина Гуда,

Зеленые волны хлебов,
ведущие с ветром беседу,
и первую в мире любовь
к герою, к охотнику — к деду.

1927

БАБКА

Бабка радостною была,
бабка радугою цвела,
пирогам да поговорками
знаменита и весела.

Хоть прописана в крепостях
и ценилась-то вся в пустяк,
но и в этой цене небольшой
красовалась живой душой.

Не знавала больших хором,
не училась писать пером,
не боялась ходить босой
по лугам, покрытым росой.

В тех лугах на ее на след
и набрел пересмешник дед.
Нашутил перед ней, рассмеял,
всеми росами насыял.

На колени пред ней упал,
из неволи ее выкупал.
И пошла она за него,
за курских глаз его синевою.

Так и жили они с тех пор,
губы в губы и взор во взор.
А поссориться доводилось, —
ненадолго хватало ссор.

Бабка радостною была,
бабка иволгою плыла
по-над яблоневыми ветвями —
мастерица на все дела!

Отглядела на синий лен,
отшумела под белый клен.
До сих пор в нее — над рекою —
соловьиный напев влюблен,

1927

МАЛЬЧИК БОЛЬШЕГОЛОВЫЙ

Голос свистит щегловый,
мальчик большеголовый,
встань, протяни ручонки
в ситцевой рубашонке!

Встань здесь и подожди-ка:
утро синё и дико,
всех здесь миров граница
сходится и хранится.

Утро синё и тихо,
солнца мокра гвоздика,
небо полно погоды,
Сейма сияют воды.

Пар от лугов белёсый
падает под березы;
желтый цветок покачивая,
пчелы гудят в акациях.

Мальчик большеголовый,
облак плывет лиловый,
мир еще занят тенью,
весь в пламенах рожденья.

Не уходи за это
море дождя и света,
чуй — кочаны капусты
шепчут тебе: забудься!

Голос поет щегловый,
мальчик большеголовый,
встань, протяни ручонки
в ситцевой рубашонке!

Огненными вихрами
сразу пять солнц играют;
счастье стоит сторицей,
сдунешь — не повторится!

Шелк это или ситец,
стой здесь, теплом насытись;
в синюю плавься россыпь,
искрами брызжут росы.

Не уходи за это
море дождя и света,
стой здесь, глазком окидывая
счастье свое ракиотовое!

1930

ДЕТСТВО

Детство. Мальчик. Пенал. Урок...
За плечами телячий ранец...
День еще без конца широк,
бесконечен зари румянец.
Мир еще беспредельно пуст:
света с сумраком поединок;
под ногой веселящий хруст
начеканенных за ночь льдинок.
На душе еще нет рубцов,
еще мало надежд погребенных;
среди сотни других сорванцов
полувзрослый — полурбенок.
Но за годом учебный год
отмечает с различных точек
жизни будущего — господ,
жизни будущего — чернорабочих.
Дело здесь не в одних чинах,
не в богатстве, не в блюдах сладких,
а в наследье веков, в сынах,
в повторяющихся повадках.

Губернаторский дом был строг:
полицейский с тяжелой пашкой
здесь стоял, чтоб никто не смог
подлететь к нему мелкой пташкой.
За зеркальным окном — цветы:
пальмы, крокусы, орхидеи
из торжественной пустоты

смотрят в улицу, холодея.
Здесь смешны треволнение и стон,
проявление волнения и боли;
здесь и самый свет затенен
мягким сумраком жирандолей.
Здесь слова недоступны нам,
объяснения сухи и кратки;
здесь нисходят по ступеням,
чуть натягивая перчатки.
У подъезда карета ждет,
и как будто совсем без усилья
пара серых с места берет
и летит, обдавая пылью.

Лишь дворянских выборов съезд
отражался в начищенной меди;
поднимались с належающих мест,
покидая берлоги, медведи.
Полторацкого номера
учащенно хлопали дверью:
эполеты и кивера,
палантины, боа и перья.
Все казалось сказкой иной,
из каренинского быта;
все вздымалось плотной стеной,
из алмазов и стали слито.
И от блеска этой игры
на уезд струилось сиянье:
так же жил и город Щигры,
то же делалось в Обояни.

Вот таков же и город Льгов,
инде звавшийся Ольгов-градом,
жил среди полей и лугов
отраженным губернским складом.
Через Сейм — деревянный мост,
место праздничных поздних гуляний;
соловьиный передний пост
на ракитовой лунной поляпе;
а за ним, меж дубов, у ворот
Князь-Барятинского парка,

их насеяно невпроворот,
так что небу становится жарко.
Тут и там, и правей и левей,
в семь колен рассыпаются лихо, —
соловей, соловей, соловей,
лишь внимать поспевай соловыха!
Соловьями наш край знаменит,
он не знает безделья и скуки;
он, должно быть, и кровь пламенит,
и хрустальными делает звуки.

Города мои, города!
Сквозь времен продираясь груду,
я запомнил вас навсегда,
никогда я вас не забуду.
Суджа, Рыльск, Обоянь, Путивль,
вы мне верную службу служили.
Вы мне в жизнь показали пути,
вы мне звук свой в сердце вложили.

1930

ГОРОД КУРСК

Город Курск стоит на горе,
опоясавшись речкой Тускорь.
Хорошо к ней слететь в январе
на салазках с крутого спуска.
Хорошо, обгоняя всех,
свежей кожей щек зазяблых
ощущать разомлевший снег,
словно сок мороженых яблок.
О, республика детских лет,
государство, великое в малом!
Ты навек оставляешь след
отшумевшим своим снеготалом.
Ты не сможешь ли сдунуть хмарь
над житьем, еще неказистым,
не позволишь ли стать, как встарь,
реалистом или гимназистом?
Не захлопнуть ли вновь урок,
сухмяткой не лезущий в глотку,
не пойти ль провести вечерок
на товарищескую сходку?

Открываются небеса
никому не известных далей.
Туго стянуты пояса
вкруг мальчишеских тонких таллий.
Всякой хитрости вопреки, —

никому никаких поблажек, —
снова лечатся синяки
светлым холодом медных пряжек.
Снова вьется метель столбом.
Снова, вызвав внезапный румянец,
посвящают стихи в альбом
чьих-то дочек или племянниц.
Снова клятвы о дружбе навек,
вопреки расстоянью и срокам...
Подрастает, растет человек,
с этим главным считаясь уроком.
И курятся вокруг снега,
завиваясь в крутом буране,
и, вздымая времен рога,
подрастают мои куряне.

Не разгладить ли ветром бровь,
не припомнить ли вновь старинку,
не пойти ли сквозь вьюгу вновь
на товарищескую вечеринку?
Вы, из памяти навсегда
уходящие без укора,
собирайтесь вновь, города, —
моя истинная опора.
Вот он, форточку приоткрыв,
закурчавленную с мороза, —
это детской души порыв, —
сыплет зимней пичуге просо.
Пусть летит этих зерен град
снегилям и чижам на разживу.
Становитесь, все зданья, в ряд,
по привычному вам ранжиру.
Пусть все улицы поведут
по намеченному маршруту,
огоньками и там и тут
освещая эту минуту.
Я опять на прямом пути,
на тропе своей стародавней,
на просторе, а не взаперти,
позабывших детских преданий!

Город Курск стоит на горе,
дымом труб дыша на морозе.
На зеленой зимней заре
хорошо в нем скрипят полозья.
От дыханья застывший пар
закурчавленных в иней бород;
ставший коробом, как у бояр,
на тулупе овчинный ворот.
От зари он — как вырезной,
как узором кованым шитый.
Старина в нем сошлась с новизной, —
обе полы времени свиты.

Сразу даже решить нельзя:
то ли клики в военном стане,
собрались ли в поход князья,
на базар ли спешат крестьяне.
Мягкий говор, глухое «ге»,
неотчетливые ударенья,
словно лебедь блуждает в пурге
и теряет свое оперенье.
Он забыл о лазурной судьбе,
он во мраке кончает скитанье,
он друзей призывает к себе
округленную глутью гортани.

Дорогие мои друзья,
я вас полным именем кличу.
Вы и впрямь до сих пор князья
и по стати и по обличью.
Вы не блеском своих дворцов, —
вы творцами были на деле,
вы на землях своих отцов,
как на княжьем престоле сидели!

Город Курск на веков гряде,
неподкупный и непокорный,
на железной залег руде,
глубоко запустивши корни.
Он в овчине густых садов,
в рукавицах овсяных пашен

не боится ничьих судов,
никакой ему враг не страшен.
Он над малой стоит рекой,
мочит яблоки, сушит груши
и не знает еще, что покой
будет навек его нарушен.
Он теперь опален огнем,
а тогда был так безопасен...
Как давно не бывал я в нем!
Как я многим ему обязан!

1930—1943

ЗАПЕВАЕМ!

1930

НОВАЯ «БУДЕННАЯ»

Лишь край небес подернется
каленой каймой, —
слетать бы мне, буденновцы,
до Дону домой.
Пока кружат без окрика
в степях кречета —
в далеком Сальском округе
бойцов сосчитать.

Конь вороной,
не стой подо мной,
лети — стелись без отдыху
донской стороной.
Беги, беги, Воронко, —
хорошая сторонка!
Сивый — буланый,
мелькай над поляной,
серый — каурый,
бурей лети!

Как низко звезды светятся
по-над головой,
блещут над Усть-Медведицкой
и над Таловой.

Не песней ли порадовать
тот памятный год —
к Царицыну, к Саратову
военный поход?

Земля была заплакана
и в дым спалена.
Цвела у Усть-Собакина
в полях белена.
Бойцам Буденной выпало,
покинув ребят,
ту белену повыполоть,
наотмашь рубя.

Гляди, теперь — просторные
какие поля,
а было — под Касторною
теснились, пыля.
И помнят наши кони
тот отблеск речной
на саблях, у Воронежа,
в атаке ночной.

Звезда над Доном тихая,
пылай и светись.
Он пал, и нашей пикою
пронзен бандитизм.
Как всюду, в Сальском округе
полей тишина,
и над полями мокрыми
звезда зажжена.

А звезды тут охапками —
совсем не пустяк —
буденновскими шапками
мелькают в кустах.
Как будто из туч их
на Дон и на Сал
поземок летучий,
в посев набросал.

Здесь враг до корня вырван
и сник, затаен.
Весь коллективизирован
Сальский район.
Деньки скупы и поздненьки,
густы вечера,
а были те колхозники
бойцами вчера.

Трактор стальной,
стань передо мной,
разом тяни
лемеха с бороной.
Трудись, трудись, Воронко, —
веселая сторонка!
Сеялки, косилки —
рабочие посылки,
жатки, молотилки —
дешевой ценой!

А если враг нацелится
затронуть колхоз,
опять ряды разделятся
мастями полков.
Лишь нам свою защиту,
страна, поручи, —
у нас удар рассчитан,
клинки горячи.

Конь вороной,
не стой подо мной,
лети — стелись советской
большой стороной.
Беги, беги, Воронко, —
хорошая сторонка!
Сивый — буланый,
мелькай над поляной,
серый — каурый,
бурей лети!

**КОМСОМОЛЬСКОЙ ЛОДКЕ-ПОДВОДКЕ,
ЕЕ БЕСШУМНОЙ ПОХОДКЕ**

Подводка-лодка,
 укрывшись под водой,
будь самой верткой
 и самой молодой.

Молодка-лодка,
 упорная комса,
пучину моря
 турбинами кромсай.

Большая стройка
 идет на берегу;
ее на море
 линкоры стерегут.

Но хоть линкоры
 и очень здоровы,
а не сносить им
 без лодки головы.

Лишь враг нахлынет
 громадой броневой —
глазок надводный
 нам скажет про него.

Все выше, выше
 давление воды;
все чаще, чаще
 дыхание в груди.

Но ты, кто робок,
и слаб, и глуп,
за нами не пытайся
в морскую падать глубь.

Чье солнце светит
над ширью водяной,
того не запугаешь
могилой ледяной.

Густые тени
над нами наверху,
а мы приникли
к зеленому миру.

В броню укутан
мир старых дел и числ;
огня укусом
взрывать его учись.

За кем победа?
Над нами — враг стеной, —
вонзай, торпеда,
свое веретено!

Теперь, линкоры,
вперед, на равный бой;
пусть волны — горы,
и в борт гремит прибой.

Рванемся к свету
и — наша даль видна,
ей песню эту
мы вынесем со дна.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ АРМИИ

Убийц вереницы
сдержав пред собой,
на нашей границе
упал часовой.

За далью читинской
зеркальной струей,
блеснув, ощетинься,
штыков острие.

Вперед, Особая
Дальневосточная,
на звуки вражеской пальбы,
и банды белые
гони настойчиво
за пограничные столбы!

Несутся слухи,
врагов гоня, —
товарищ Блюхер
взнуздал коня.

На нашем флаге —
зари лучи.
Сумбейский лагерь
мы выручим.

Склонись над патроном,
боец рядовой.
Вовек мы не тронем
Китай трудовой.

Но милитаристский
продажный Китай —
лишь сунется близко, —
в штыки раскидай.

За ихней спиною,
жадна и дика,
грозит войною
иная рука.

Как прелые листья
нагих ветвей,
империалистов
откинь и отвеи.

Цепь наших линий
от бурь и бед —
Сихотэ-Алиний
хранит хребет.

Пускай нам хмуро
грозят войной,
мы у Амура
стоим стеной.

Вперед, Особая
Дальневосточная,
на звуки вражеской пальбы,
и банды белые
гони настойчиво
за пограничные столбы!

ВСТРЕЧА

Ах, какого парня
я встретил в январе:
шинель кавалерийская
и шашка в серебре.

Шинель кавалерийская —
широкая пола —
на все крючки застегнута,
подтянута была.

Походкой непривычной,
тяжелую стопой
вошел он в дверь уверенно,
как паровоз в депо.

И, может, новой песни
природа такова, —
но стало сразу празднично
в трамвае буквы А.

Шел вагон, тянулся
до Сретенских ворот...
Ко мне он повернулся
вполупорот.

Скул его добротный,
устойчивый загар,
должно быть, начинал еще
обветривать Чонгар.

А пашку, что любовно
и бережно он нес,
как будто в искры крупные
облицевал мороз.

Его фигуры складной
осанистый отвал,
должно быть, проверяли
позиции ОДВА.

Уверенно и крепко
сидел он, тут и прям,
и лишь над белой бровью
змеился рваный шрам.

К нему со словом ласковым
хотел я подойти,
чтоб ближе познакомиться
в коротеньком пути.

Да только растерялся
в подборе нужных слов,
пока трамвая скрежетом
нас к Сретенке несло.

Ну, чем его почту я
и что ему спою,
все песни отстоявшему
в решительном бою?

А что до этой повести, —
он знает — видит сам,
какие взмыли новости
к советским небесам.

Но если б эту встречу
опять бы мне в глаза,
я — руки бы на плечи
и так ему сказал:

«На свете есть другие
знамена и полки,

туземных легионов
тяжелые белки.

Шотландские волынки,
нашивка и шеврон,
угрюмой дисциплины
казенное тавро.

Но те, чьи руки знают
рабочий толк в вещах, —
повсюду в мире помнят,
кого ты защищал.

И этот шрам надбровный
и твердая шинель
погонов и шевронов
им ближе и ценней.

А ты — правофланговый
тех армий навсегда,
чье вечное сиянье —
алая звезда».

И, может, новой песни
природа такова,
что нужно ей отыскивать
особые слова,

Что хочется приветствовать
теплее и добрей
шинель тяжелополюю
и пашку в серебре.

1930

Смирная взоры лютые,
стоим мы в ряд,
великой революции
живой отряд.
Спокойной силе радуясь,
наш строй не слаб
граненую оградю
от белых лап.
За нашу стеною —
поля в росе,
за нашей спиной —
страны посев.
Высокою ценою
мы ценим труд,
за нашу стеною —
рабочий люд.
Спокойной силой радуя
того, кто слаб,
стоим стальной оградю
от белых лап.
Они бы рады ринуться
под рев гранат,
да нас от их зверинца
штыки хранят.
Стоим оградой четкою
и каждый миг
готовы за решетку
отбросить их.
Им — смерть хотелось кинуться
на осоавиахимовца,
да страшно напороться
на краснофлотца.
Спокойной силой радуя,
наш строй не слаб, —
стоит стальной оградю
от белых лап.

БЕЛЫЙ БЕРЕГ

1

Оторочена Висла
 в голубые снега.
Кто убит, а кто выслан
 за ее берега.

Запорошены ивы
 молодой сединой,
и меж них горделиво
 влит дворец ледяной.

Хочет Висла к Дунаю
 занемелой струей,
но кора ледяная
 не пускает ее.

Хочет Висла от дому
 к Дону — в дружбу она,
но морозу седому
 в дань волна отдана.

Хочет Висла к Дунаю,
 к Волге в гости потечь,
но, сверля и стеная,
 ей вдогонку — картечь!

К Уяздовской аллее
не пробиться воде, —
точно череп, белея,
просквозил Бельведер.

Стихотворные стопы,
раскаляйтесь в огонь!
Кто же Вислу растопит
необутой ногой?

Если ветлы не смыслят,
берега не поют,
все равно — не на Висле
будет панства приют.

Полетят эти стекла
в ледяные глаза.
Висла кровью промокла,
и не течь ей назад.

Белоснежье, безлюдье, —
жизнь за сломанный злот.
Висла сдавленной грудью
дышит тяжело и зло.

Но от Сана до Вепржа —
пар по полой воде.
Будет сдвинут и свержен
голубой Бельведер.

2

В это время
в польском сейме
между фракциями
всеми
происходит
жаркий спор.
Заболел
премьер Дашинский, —

маршал —
дверью не ошибся:
зазвенели
блестки шпор.
Входит в зало
пан Пилсудский,
аж подвески люстр
трясутся,
аж паркет
скрипит в пазах,
аж хребет
у шеи хряснет —
все заранее
согласны,
что б вельможный
ни сказал.
Неподвижны
Вислы воды.
Ждут пилсудчики
у входа;
им попробуй —
поперечь!
Полны лоска,
полны блеска,
палаши сверкают
веско —
пана маршала
сберечь.
Длится
маршальская пьеса...
На скамьях
у ППСа,
заслонив
в ладонь лицо,
депутаты
жмутся кругом,
если маршальская
ругань
им в глаза
летит свинцом.

развевая гнев
и стыд, —
и над ними,
как над нами, —
алошелковое
знамя,
расстилаясь,
шелестит!
Разве сейм —
глухие тропы?
Разве осмелели
хлопы?
Разве снег
не бел, не чист,
что, как в искрах
над фольварком,
неожиданно
и ярко,
обожжен огнем
фашист?
Чует Лодзь,
и чует Краков:
значит — тает лед,
заплакав,
значит — лед
не леденит, —
завтра ж,
хлынув по угодьям,
Висла
вольным половодьем
рукава
соединит!

1930

ДНЕПР ПОШЕЛ ВЛЕВО

1

Загородили
 Днепру дорогу
 девять порогов.
Верхнеднепровью
 к нижнему плесу
 выход отрезан.
Лег он, разрубленный,
 серой змеюкой,
 чаек баюкать.
К Черному морю,
 к вольному свету
 доступа нету.

2

Сжал его ладонью узкой
 Сурский;
по своей ведет указке
 Лоханский;
водяною занавеской
 скрыл Звонецкий;
головами, волны, гнитесь
 через Ненасытец;
рассыпайтесь в прах бессильный
 через Вильный!

Как возникает

клинок из сплава,
из бурь — матрос,
так из

Екатеринослава —
Днепропетровск.

Где прежде прыгал

Днепр, опорожен,

порогам в пасть,
где волны пеной

по Запорожью

гремели всласть,
где прежде горю

нужда платила

последний грош, —
там над камнями

растет плотина

во влажь и дрожь.

Чтоб Днепр не только

в блестящих брызгах

на много миль, —
чтоб наших дней

больших и близких

сияла быль;

чтобы не в память

борьбы казацкой

скреблось весло, —
чтоб наше

новое хозяйство

на нем несло,
чтоб разобщенной

водной массы

седую нить
рукою

выросшего класса
соединить!

Горечь,
 и ярость,
 и силу потока,
 бывшего
 судорожным ключом,
 мы перекаладываем,
 как винтовку, —
 с плеча
 на плечо.
 Кипень,
 и пену,
 и тяжесть движенья
 водных белков
 мы перебрасываем, —
 как в сраженье
 силу полков.
 В остров большой
 уцепившись бетоном
 с той
 и с другой
 стороны,
 мы побеждаем, —
 не никнем,
 не тонем
 в глубь старины.
 Правую сторону
 загородивши
 во всю ширину, —
 слышим,
 как волны
 взмывают и дышат,
 влево свернув.
 Вод победительных
 блещущим грузам
 будет итог:
 мы, управляя
 трехкамерным шлюзом,
 двинем поток!

Повышай свои ресурсы,
Сурский;
заливай воды богатство,
Лоханский;
трепещи, взволнован блеском,
Звонецкий;
глуби полные, неситесь
через Ненасытец;
волнитесь —
через Вольницкий;
водяной попоной пышной
и обильной
заливайте — Лишний
и Вильный!

1930

Работа шла
далеко,
вдали
от пышных фраз, —
ее кончать
до срока
велеть изволил
класс.
И вот она —
под флагами
в тридцатом году
спешит,
едва подрагивая,
на полном
на ходу.
Попыхивает ласково
эхо в горах
колонной первомайскою
на всех
на парах.
Трехлетья
трудной тягою,
напористым рывком
пошла
разрыв затягивать
меж хлебом
и хлопком.
Зафыркав водокачками,
тишая
по мостам,
пошла
бока покачивать —
товарный
свой состав.
На бой
с ханжою набожным,
раскидывая шлак,
пошла, пошла,
пошла, пошла,
поехала,
пошла!

«ДИНАМО»

Англия —
 страна спорта,
Англия —
 страна машин,
Англия —
 страна гордых
и закаленных
 мужчин.
Таких гордых,
 таких закаленных,
что кажут кулак —
 еще из пеленок.
Выдвинет челюсть,
 сожмет кулачонок
и не боится
 ни красных, ни черных.
Едва в рубашонку
 ребенок облекся, —
уже готов
 для футбола и бокса.
Растет, упражняясь,
 упрямый и ловкий,
в ежеутренней
 тренировке.
Разведет себе в стороны
 плечи,
выжмет гирию —
 и крыть его нечем.

овладел
 рабочий простой.
Вот где
 подлинный центр пропаганды,
вот где
 злостный ее отстой.
Машет
 выгнутыми тенями
гимнастический зал
 «Динамо».

Крепость тел
 и упругость линий,
разрезая воздух
 свежо,
грохоча пружиной
 трамплиней,
раз за разом
 взвивает прыжок.
Джентльмены ли это
 в трусиках,
выгибаясь,
 на кольцах крутятся?
Представители ль
 вышей расы
фехтованьем
 звонят о кирасы?
Для чего им,
 скажите,
 учиться
боксу,
 выпаду,
 джиу-джитсу?
Англия, Англия,
 как ты терпишь
этих
 безбожников и мерзавцев?
Ведь забьют
 и Оксфорд и Кембридж,
если
 придется им состязаться!

выше и чище
наше жилище.
Жизнь не бесцельна,
нравы не грубы —
нас развлекают театры и клубы.
Что нам поделать
круто с собою,
чтобы предел
положить запоя?
Не относиться
к этому с легкостью,
не становиться
с усмешкой над пропастью.
Бей
спиртоносов «запасы»
о камень,
не позволяй
к ним тянуться руками.
Вырви из рук
у больного яд,
не загоняй ему
в глотку заряд.
Нет, не просто они —
спиртоносы,
а нашему делу они —
смертоносны.
И не кивай,
что есть, мол, в продаже
в каждой лавке
товар на спирту:
государство
не может приставить стражи
к каждому
раскрытому рту.
А общество — может,
заштопав им рот,
пьяные рожи
поставить во фронт!

Смирно!

Октябрь,
наступай им на глотку,
тем,
кто сменил нашу радость
на водку.

Тем,
кто верит,
что высшую радость
может доставить
лишь крепкий градус.

Тем,
кто шаг наш,
прочный и веский,
хочет распатывать
пьянкой мертвецкой.

Помни,
что наш парад в Октябре
в ясности трезвой
погоды осенней, —
свежестью ветра
обдуй и развей
пьяную хмель
былых воскресений.

Мы
не камаринские мужики,
чтоб допиваться
до голого пуза.
Двери открыты для нас
широки
клуба,
спортивного зала
и вуза.

Так неужели ж
все это пропьем —
наши возможности
и достиженья, —

выросши диким,
ненужным репьем
в общем подъеме,
полете,
движенье?!
Нет,

это не рассужденья пустые, —
голос мой,
крепни вдвойне
и втройне!

Нет!
Не потонет
Россия,
захлебнувшись
в зеленом вине!

1930

в общий порядок —
стройный устав
тому,
кто с работы приходит,
устав.
Это значит —
не жить потихоньку,
страхи свои
свалив под иконку.
Жизни силу
удвой и утрой,
рост производства,
общий контроль.
Это значит —
коммуны корпус
клином
в хибарке соседней вбит,
и в нем,
от древних сводов
не горбясь,
обновленный
рождается быт.
Это значит —
не в пиве намокла
всклокоченная
борода, —
просторные парки,
высокие стекла,
социалистические
города.
Это...
Да мало ли
что это значит:
ведь строй его
только намечен
и начат.
А тонкость
его подробностей прочих
не впишешь
и в тысячи
пламенных строчек.

Товарищ!

Мы нового часто не чуем,
мы в старых повадках,
как в путях,
кочуем.

Но если ты хочешь,
додумай, чтоб он попрос,
что начал Днепропетровск.

1930

ДВА ЛИЦА

В Европе — иное обличье у женщин,
опетых, ославленных в звон серенад.
У наших и взгляды и руки пожестче,
и плеч повнушительней ширина.

Но часто у многих нестойких душонок
фантазию думы иные томят
о тех — разузоренных и раздушенных,
окрашенных в зори румян и помад.

А наши красивее и молодее,
стоящие крепко в рабочем строю,
фальшивят и портят — подделать радея
под ихние моды наружность свою.

Постельным товаром там взоры влекутся,
там люди — на вывесках модных витрин,
там все устремленья одежды и вкуса
к тому, чтоб друг друга перехитрить.

А наши смотрины в движенье, в работе,
в полях и станках человечества смотр.
Нам некогда лоб свой морщиной заботить
о новых причудах изменчивых мод.

Пускай утверждается новый обычай,
и женщины новой блистательный день
пускай освещает двух женских обличий,
двух профилей женских упрямую тень.

Одна — в ресторане дымит папирской,
прельщая мужчин золотые рои.
Другая — фигурую Софьи Перовской
к себе привлекает иных героинь.

С кем ты? С той, что в овальной гостиной
самкой глупеет в курином раю,
или с Надеждою Константиновной
строит республику свою?

Пока волос густота не редела
и время не врыло в морщины резец,
решай: им ли нас переделать,
или мы их — на свой образец.

1930

**КОМУ ВПРОК
ПРОГУЛОВ ПОТОК?**

Наши убытки
на радость врагу.
Кому помогает
растущий прогул?

На него надеются —
белогвардейцы.
Жестом привычным
на него указывая,
рабочим заграничным
грозит буржуазия.

Чтоб массы с ними
хоть временно ладили,
прогулом козыряют
социал-соглашатели.

Попы и монахи
сияют, галдя:
мол, весь СССР —
сплошной разгильдяй.

Кулаки
и вредители —
прогулам
родители.

**ИЗ РАБОЧЕЙ ГУЩИ
ВЫЛЕТАЙ, ПРОГУЛЬЩИКИ!**

Солидарность рабочих —
великая вещь!
Ею сильна
рабочая масса,
но,
скрывшись за нею,
трудом пренебречь
лентяи и пьяницы
часто стремятся.
И лучших рабочих
нередко с пути
сбивает
соседа ухмылка кривая:
все, мол, мы слабости
победим,
друг дружке
потворствуя
и потакая.
Помни, дескать,
рабочий цех, —
все за одного
и один за всех!
И смотрит сквозь пальцы
слюнтяй и добряк
на убыль продукции,
порчу и брак,
оставляя
без внимания

ее уменьшение
и удорожание.

Но,
ход трудовой дисциплины нарушив,
задумавший скрыться
молчком да тайком,
прогульщик
все равно обнаружен
вскочившим в расценку
волдырь-пятакoм.

И мелкий прогул,
как на шее чирей,
здоровую кожу
разъев по зерну,
в гнойник расплзаясь
все шире и шире,
стране
не дает головы повернуть.

Ничтожной хвори
мелка лихорадка,
а,
весь организм сотрясая,
грозит
как правила
внутреннего распорядка,
так все наше дело сорвать —
паразит!

Плоха сноровка
в руках небрежных;
сырье сжигает
и рвет, губя,
как будто работаем мы
на прежних
хозяев,
а не на самих себя!

А если вмешаться
приходится спецу
за то,
что портится инструмент,
ему
на хвост насыпают перцу,

**ПОРА
ПРОЧИЩАТЬ РУПОРА!**

Чтобы наша
 радиосеть
прочно в сини
 могла висеть,
чтоб не застлало
 раструб певучий
мягкой и липкой
 тканью паучей, —
проводи —
 до последнего гвоздика —
полную чистку
 радиовоздуха!

Не гостиная
 приемов поздних —
площадь пустынная,
 полночь в звездах.
А из рупора,
 пенясь бурно,
голос льется
 колоратурный.
То взвояет глухо,
 то взвизгнет пряно,
в любви загробной клянясь,
 сопрано.
Все реже и реже
 трамваев скрежет, —

ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР

Володя!
Послушай!
Довольно шуток!
Опомнись,
вставай,
пойдем!
Всего ведь как несколько
кущих суток
ты звал меня
в свой дом.
Лежит
маяка подрытым подножьем,
на толпы
себя разрядив
и помножив;
бесценных слов
транжира и мот,
молчит,
тишину за выстрелом тиша;
но я
и сквозь дебри
мрачнейших немот
голос,
меня сотрясающий,
слышу.
Крушны,
тяжелы,
солоны на вкус

раздельных слов
отборные зерна,
и я
прорастить их
слезами пекусь
и чувствую —
плакать теперь
не позорно.

От гроба
в страхе
не убегу:
реальный,
поэтусторонний,
я сберегу
их гул
в мозгу,
что им
навек заронен.
«Мой дом теперь
не там, на Лубянском,
и не в переулке
Гендриковом;
довольно
тревожиться
и улыбаться
и слыть
игроком
и ветреником.
Мой дом теперь —
далеко и близко,
подножная пыль
и зазвездная даль;
ты можешь
с ресницы его обрызгать
и все-таки —
никогда не увидеть».

Сказал,
и — гул ли оркестра замолк
или губы —
чугун —
на замок,

Владимир Владимирович,
прости — не пойму,
от горя —
мышление туго.
Не прячься от нас
в гробовую кайму,
дай адрес
семье
и другу.
Но длится тишь
бездонных пустот,
и брови крыло
недвижимо.
И слышу:
крепче во мне растет
упор
бессмертного выжима.
«Слушай!
Я лягу тебе на плечо
всей косной
тяжестью гроба,
и, если плечо твое
живо еще,
смотри
и слушай в оба.
Утри глаза
и узнать сумеи
родные черты
моих семей.
Они везде,
где труд и учет,
куда б ни шагнул,
ни пошел ты.
Мой кровный тот —
чья воля течет
не в шлюз
лихорадки желтой.
Ко мне теперь
вся земля приближена,
я землю
держу за края.

И где б ни виднелась
рабья хижина,

она —
родная,
моя.

Я ночь бужу,
молчанье нарушив,

коверкая
стран слова;
я ей ору:
берись за оружие,
пора,
поднимайся,
вставай!

Переселясь
в просторы истории,
перешагнув
за жизни между,
не славы забочусь
о выпрленном вздоре я, —
дыханьем миллионов
дышу и грожу,

Я так свои глаза
расширил,
что их
даже облако
не заслонит,

чтоб чуяли
щелки, заплывшие в жире,
что зоркостью
я
знаменит.

Я слышу, —
с моих стихотворных орбит
крепчает
плечо твое хрупкое:
ты в каждую мелочь
нашей борьбы
вглядись,
не забыв про крупное.

Поэмы

Я,
адмирал Александр Колчак,
проклятый в песнях,
забытый в сказаньях.

Я,
погубивший мечту свою,
спулавший ветры
в звездном посеве,
плыть захотевший
на юг
и на юг
и отнесенный
далеко
на север.

Я
предупреждаю других,
жаждущих славы
и льнущих ко власти:

уже
и уже
сходились круги
темных моих
человеческих странствий.

Плыть бы и плыть мне
к седой земле,
бредящей

именем адмирала,
так —
чтобы сердце,
на миг замлев,
хлынувшей радостью
обмирало.

Но —
не иная земля
у плеча,
и не акулье скольженье
у плюзов, —
путь мой
искривлен
рукой англичан,

бег мой
направлен
рукою французов.
И
не на штиля
немой бирюзе
встали миражами
жизни виденья, —
кто-то
мне путь и судьбу
пересек
темной,
суровой,
вздохмаченной тенью.
Я,
изменивший стихии родной,
вышедший биться
на сухопутье,
пущен
болотам сибирским
на дно,
путами тропок таежных
опутан.
Я,
никаких не открывший стран,
вижу теперь
из могильного мрака:
жгучею болью
бесчисленных ран
путь заградил мне —
Семен Проскаков.
Против народа
безмерностью пагуб
оборотившему
острие,
если б мне
снова,
сломав свою шпагу,
в Черное море
бросить ее!

Еще ходят
по Москве,
в Харькове,
Киеве;
он и жулик
и аскет —
есть такие.
С ним
руками пустыми
не цапайся;
он —
не с нами,
не с ними,
он —
сам по себе.
Он кривит
усмешкой рот,
злой
и узкий;
он бахвалится
и врет:
«Я, мол,
русский.
Я остануся
таким
век
до гроба.
Все вы —
рвань,
дураки.
Я —
особый!
Я
об стену
в дому
развалю
башку,
лишь бы жить
моему
самолюбьишке.

Может,
жил бы тихо,
фарту б
дождался,
если бы
не вихорь
войны
гражданской,
если бы не бури
широкая сила
пену от влаги
не относила.
Вот он
сидит —
«потомок»
декабриста.
В глазах
у судьи
тайга
серебрится.
Забелели
берега
белые
Байкаловы;
ночь темна
и велика,
хоть глаза
выкалывай!..
С ним —
его вояки,
страшные приспешники:
люди
или раки,
руки
или клешни?
На портретах
Брюллова
такие лица;
рот
у тонкоскулого
шевелится.

Губы —
 тоньше ниточки, —
страх
 на врагов;
генеральской
 выточкой
светит
 погон.
Чуб
 из-под околыша
падает
 на лоб;
по степи
 такого же
нес его
 галоп.
Поскрипывали
 ремни
у седел
 тугих...
Алые
 деревни
среди
 белой тайги.
Времени
 не тратили
белые
 каратели:
«Разбегайтесь
 по домам,
...с вами —
 нянькаться!
С нами
 бог и атаман,
мы —
 анненковцы.
Нечего медлить,
 некогда мешкать:
если младенец —
 на штык да об печку;

эти люди-звери,
я стрелял бы в них,
слов не трата
и словам
не веря!

Партизаны

Приехав в деревню Тележину, там уже нас встретили неприятельской пулей. Тут нам пришлось задержаться на трое суток, и у нас вышли патроны, и нам стало воевать нечем. Тут издал приказ наш командир, чтобы кто как мог, так и спасался от белой сволочи. Здесь мое первое страдание при отступлении, нас искали везде и всюду, и я попал на займку Елиновку, влез на высокую гору и там спасался пятеро суток, а хлеба ни крошки нет. В пятье сутки я встретился с одним мадьяром отряда нашего, и мы решили пойти скитаться вместе по незнакомой глухой тайге, и отправились по долинам гор, днем лежим, запрячемся, а ночью идем. И до чего же дошло это страдание, что у нас с почв наших ног были раны до костей. Ведь подумаешь это страдание и встретивши его, то все-таки становится тебе жутко.

Архив Истпрофа ЦК Союза горнорабочих

Второе

1

Можно написать:
«...Тропка вела
не то на небеса,
не то на елань».
Мы ж хотим —
без выдумок,
что жизнь нам
дала,
рассказать
о видимых
людях
и делах.
Чтоб,
к правде лицом,
пути не терял

сух
и весом —
наш материал,
чтоб
не теплых цыплят
холить нежненько,
чтоб
ноге не цеплять
по валежнику.

Ти-
ше,
ти-
ше,
ти-
ши-
на.

Спи, дитя,
и спи, жена,
Не шуми,
луга,
не дрожи,
осинник!

Нет
у
ми-
ло-
го
черных,
серых,
синих.

Мерцай,
звезд
круг,
темноту
цара-
пай.

Сердца
стук,
стук:
отдохнуть
пора бы.

Настоящими
топкими тропами
шел отряд партизанов
потрепанный.

Не герои-орлы
бессменные, —

шли
рабочие люди семейные.

Шли
без регалий,

шли
без патронов,

шли
и ругались,
хвою затронув.

Шли
по весенней хрусткой капелл,
шли,
и, вроде вот этого,

пели:

«Что ты не веселый,
наш товарищ командир?!

Скоро ль наши села
завиднеют впереди?

Шагу не наступишь:
патрудилася нога.

Ты ли нас погубишь,
распроклятая тайга?»

Отвечал печально
наш товарищ командир:

«Я вам
не начальник, —

кто куда хотишь, иди.
Много троп

наслежено,
да кончены пути;
вот она —

Тележина,
да к ней не подойти.

Стоит вам
послушать,

бойцы,
 мой слова:
печего нам кушать
и нечем воевать.
Сосны
 еле шепчутся,
обстигла
 нас беда.
Обнимемся крепче,
разойдемся,
 кто куда».
Мы тебе ответили,
товарищ командир, —
встретиться
 на свете
суждено нам
 впереди!
Слушайся приказу,
голодная братва,
расходись не сразу —
по одному, по два.
Тихий шорох,
 раскатись .
по тревожной ночке,
расходись,
 расходись
в темь
 поодиночке.
Разровняй, трава,
 наш след
по зеленой улице.
Ночью были —
 утром нет,
лишь туманы курятся...

2

Горемычно
 одному в лесу,
тьма ведет
 суконкой по лицу:

Стой, ночь!
Мне с тобою страшно
наедине —
ты такой
тишиной окрашена,
оледенев,
ты такой
тишины ответчица,
вплоть до могил...
Если сердце
со страху мечется,
ты — помоги!
Видишь:
спавший
с камнями ветхими
береговой —
вновь
заводит
с верхними ветками
переговор.
Звякни, звякни
звездой хоть изредка
и урони,
от безлюдья
страшного призрака
оборони...
Шел Проскаков
мимо заимок.
Гнус бросался
в глаза ему,
гнусь лесная
да мошкара;
вместо хлеба —
еловая кора.
Ноги нагие
разбиты в кость.
Всюду враги,
напрямик и вкось.
По всей
по Сибири,
вблизи и далеко,

порки,
 пожары
 и паника:
справа Семенов,
 сзади Калмыков,
слева
 и спереди
 Анненков.
Черные гусары,
 синие уланы,
желтые лампасы
 уссурийские —
в криках,
 да в свистах,
 да в шашек пыланье
всюду мелькают
 и рыскают...
А в тайге,
 заедены гнусом,
партизаньи головы
 гнутся.
Эй, Семен,
 бросай,
 перестань-ка,
выходи
 из дебри
 с повинной!
Вот они —
 огни полустанка,
теплые хлева
 да овины.
Нет, не брошу,
 не перестану,
не скули,
 шахтерское сердце!
Оползи
 кругом полустанок,
погляди
 на то офицерство.
Тишь — темна;
 бурелом не треснет;

Вы —
ни господу богу свечка
и ни дьяволу
кочерга.
...Предлагаю:
в банке сорок!
Ваня, уйдем,
начинается ссора.
...Сла-а-авен
выпивкой
и пляской
чудный полк
Ингерманландский!
— В ночь,
когда стали
все кошки серы,
в дикую ночь
над несчастной страной
вы записались,
я знаю,
в эсеры,
вы к офицерству
стали спиной!
Но,
большевизию
быстро покинув,
пальцы от злости
грызя,
вновь повернули
гибкую спину
к вашим
вшивым друзьям!
Что ж,
вас опять потянуло к онуче?
Тьму
пожаром усадеб
просветлять?..
Только
здесь
вам не место канючить,
демократическая тля!

— Что случилось?
...Идите сюда!
— Все в порядке,
прошу, господа.
Ставлю
дюжину свежих бутылок.
Адъютантские шпоры
слишком звенят:
красный шпион
застрелен в затылок,
так как шел
вперед
меня!..»
Отползай, Проскаков,
отползай!
Зыбкий сумрак
от рассвета сер.
Не успел
подсумка отвязать
стрелянный
в затылок
офицер.
Хороши
для раненой ноги
мягкого опойка
сапоги;
хорошо,
свернувшись тихо,
лечь,
на плечи напялив
плотный френч.
Лес,
гори
разливами зари,
не до дремы тут,
не до спанья:
сухари в подсумке,
сухари!
И горячий
смоляной
коньяк!

Поезда

Пробившись в Кузнецкий уезд, начали со знакомыми крестьянами подпольную работу, и тут опять работать было рискованно, несмотря на карательные отряды, а работы продолжались против Колчака, но и слышав про действия карательных, как они расправлялись с товарищами, а также семьями партизан, например, каратели издевались над моей семьей, а именно, над моей женой Татьяной Ефимовной Проскаковой, испороли ее в лоскутья и выстегнув ей глаз, которая в последнее время осталась с половиной свету. ...И тут уж пошли такие дела, что, начиная переносить порки и разные наказания, то те люди уже, бросая все и организуясь, шли в отряд партизан. И вот эта-то основная причина партизан, как уже выше указано.

Архив Истпрофа ЦК Союза горнорабочих

Третье

1

Паровоз
идет по рельсам
черным
погорельцем.
Бронированы
вагоны,
шитые
погоны.
...Тяжело,
тяжело
братъ на гору
эшелон.
Хорошо,
хорошо б
растереть их
в порошок.
Хорошо бы
вкривь
и вкось
кувырнуться
под откос,
да зарубки
на колесах

не пускают
 с двух полосок.
Вдаль, вдаль,
 вдаль, вдаль
протянули шпалы
 сталь.
Три зеркальных
 фонаря
не устанут
 в темь нырять.
Над ползущею
 совой —
с пулеметом
 часовой.
Паровоз
 идет по рельсам
черным
 погорельцем...
А кругом
 кедровая
грозная
 тайга,
будто
 и не трогая,
смотрит
 на врага.
Если подвести
 под рельсы штангу,
поезд не дотянется
 к полустанку;
вагонов стручки,
 перед тем
 как сплющиться,
друг на дружку
 вздыбятся
 и взлущатся;
паровоз,
 перевертываясь,
 медленный
 и важный,

А сотни
Проскаковых
бродят вокруг
среди белых,
последних,
разнузданных вьюг.
И бродят
и бредят
о времени том,
когда они встретят
свой брошенный дом,
когда они в эти
вернутся
дома,
не слыша
нигде
атаманьих команд,
и в землю воткнутся
тупые штыки,
и всхлынут о них
боевые стихи.
...А пока мы здесь
разговариваем,
десять лет прошло
сизым маревом.
Пронеслись
и канули,
плавя
длинный след,
эти
великановы
десять лет.
Не под тем ли
градом,
с тех ли
злых дождей
виться
белым прядям
в головах
вождей?

Знаю:
встанут новые
в новый путь,
только те —
суровые —
не вернуть!
Свежая,
сырая,
злая моя жизнь,
ветром раздираемая,
вейся
и кружись!
Что в нее
заманивает,
что влечет?
Только бы
сама она
коснулась
о плечо.
Ходишь
проверяешь:
сердце
не старо ль?
Молодости свищешь
лозунг
и пароль.
Ты ведь
уже тоже
не очень
молода,
если подытожить
тяжелые года.
Как ни подытоживай
и как ни считай,
все-таки
выходит:
другим —
не чета.
Что же ты
не веришь,
сердце бережешь?!

Раз поцелуешь,
губы пережжешь?!
Свежая,
сырая,
неузнанная жизнь,
годы простирая,
взвивайся
и кружись!

**«Встретиться на свете
суждено нам впереди!»**

Вот я, Проскаков Семен Ильич, и должен был описать как пережитое при Колчаке в 1919 году дня 8 марта за мартовское восстание; мне пришлось бежать, я скрывался, и в одно время я был предан двумя в дер. Моховой — сельским секретарем и старостой, которые получили за свое предательство меня белым. Ехав по станционной дороге, дали мне приказ слезть и сказав мне, что я тебя буду расстреливать, я, несмотря на свое бессилие, взял в свои изломанные руки кайлу и ударил гада кайлой, которого вышибло из памяти, и он забыл, что у него наган, отскочив от меня, и он начал в меня стрелять, стрелив семь раз, не попал, я избит был, унес половину смерти... Я почувствовал, что он, гад, меня легко ранил, я притаился, он, гад, прошел, бросив меня, понаблюдав, опять идет ко мне, наган в голову и дал три обсечки, в четвертый раз выстрелил наган в мою голову, не попал, а мою голову заменила сырая земля и приняла в себя кровожадную пулю и спасла меня. После отъезда гада я бежал, и после расстрела я попал в отряд тов. Роликова и действовал со своими ранами в отряде, после чего изгнали чехов, я попал в Кольчугино.

Архив Истпрофа ЦК Союза горнорабочих

Четвертое

1

Так не зовут
простого врага:
«гад».
Тот,
кто потом чужим
богат, —
гад,

тот,
кто мученью
чужому рад, — гад,
тот,
чье веселье —
зареве хат, — гад!..

Под шумы
речек,
под цокот
белок,
страшные речи
идут у белых:
«...Помните
садик,
балкон,
река...
Щадить краснозадых
нам не рука!
Те,
кто прервал
эту ровную жизнь,
на интервал
от меня держись!
Я,
моему государю
хорунжий,
нервов
и слабости
не обнаружу.
Я их,
как зайцев,
буду травить
плетью казацкой
из-под травы!..»
Беги,
Проскаков,
кройся в кусты;
гонят,
наскакивают

кони
 в хлысты!
Слева
 в плети
взят аргамак,
прямо
 в плечи
пашки замах.
Беги,
 Проскаков,
зверем травимый,
кровью горячей
следы свои вымой.
Жив ли ты,
 нет ли,
друг мой
 безвестный, —
свинцу
 и петле
не стиснуть песни.
Пускай
 убит ты,
немой
 и строгий, —
тобою взвиты
эти строки!

2

Висков серебра
 внезапную просесть,
стоял и стыл
 Колчак на допросе.
Он никогда
 не знал и не ведал
и не встречался
 лицом к лицу
с тем,
 кто вырвал
 над ним победу

Это тебе
петь и плясать,
радоваться
и веселиться.
Это твои
звонки голоса,
явственные взоры
и лица.
Это тебе
жить и дышать,
скинув
со счету всякого,
кто осмелится
помешать —
песне и жизни
Проскакова.

1927—1928

Окись

Хорошо ли знали вы
поблекшее давно
штанов
 диагоналевых
зеленое сукно?
Добротное,
 рубчатое,
в косую полосу;
за штуку непочатую
иди —
 и голосуй.
Над желтыми
 прилавками
развернуто вразмах —
любой бы,
 глядя лакомо
на ширь его,
 размяк.
Губою ножниц
 схвачено,
попав под острпе,
обляжет грудь
 проваченной
зеленою струей.

Шурша подкладкой
шелковой,
ходи
да сторонись,
ходи
да пыль сощелкивай
плебейских верениц.
Хорошо ли знали вы
истлевшее давно
голландское
крахмальное
тугое полотно?
Брезгливо
тулясь по стенам
меж криков
молодых,
охвачен им
потомственный,
преемственный
кадык.
Меж демоса
лохматого,
меж курточных грязнуль,
хранит он
незахватанной
святую белизну.
Над желтыми
прилавками —
ложись
да помирай! —
сияют
туфель лаковых
любые
номера.
Блестящею
походкою
зеркалится стопа.
Над вспаренною
сходкою
не место
выступать!

Цвети
 надеждой сладкою,
учись
 и верь в одно,
что жизнь
 с ее подкладкою
добротна,
 как сукно;
что личность
 обособлена,
что собственность
 свята;
что мир,
 по каплям скопленный,
одет
 в твои цвета.
Тяжел обычай
 бычий:
с отвисшею губой
идет он
 за добычей,
как предки,
 в смертный бой.
Идет,
 других бросая,
в обгон перегонять!
И мир ему —
 косая
веков диагональ.

Окись покрывает тигль

Отглажен и чист
от пробора до ног,
высок и плечист
буржуазный сынок.
На белой подкладке
ни тени, ни складки.
Над пухлой губой —
мироздания пух.

Набравшись силенок,
растет меж зеленых
зеленый холеный,
хваленый лопух.
«Дукат»-папироска,
кудрявей курись!
Сияет до лоска
коллега юрист.
Обнимет рука
доброхотки любой
его сюртука
воротник голубой.
Из чистой науки —
потей не потей —
не выкроишь брюки,
не станешь сытей.
Хоть волос и долог,
но вряд ли — верней,
что занят филолог
природой корней.
Подвержены медики
общественной этике:
земной теплоты
не доставит латынь.
Сначала им нравятся
братство и равенство,
и сходки, и речи,
и прачки счета.
Потом они женятся:
доходы с именьица,
и женины плечи
другим не чета!
В заботах — уж где ему
носиться с идеями, —
спеша и дрожа,
по чинам семенит.
И вскоре
за выслугу
брюха отвислого
«наш уважаемый»
стал знаменит.

Теперь
 спеши и действуй,
от радости рыча, —
зеленый стол
 судейский,
зеленый стол
 врача.

Ни капельки покоя:
картишки
 да винцо —
и вот оно какое
зеленое
 лицо.

Из плесени
 и праха
разросся
 и распух
гигантского
 размаха
общественный лопух.

Общественное мнение

«Наш врач —
 рвач,
без суммы
 к нему не лезь.
Но какой он все-таки
 дока!

Знает болезнь
до последнего вздоха».
«Наш адвокат —
 богат.

В речах его
 масса жарал

Ему
 распирает бока
от гонорара».

«Ужасный хапуга
 наш инженер,

если он
 отсвечивает
в темной луже.
«От грязных луж
охрани меня, муж;
от темных сердец
сбереги нас, отец;
защитой семей
остаться сумей!»
Город стоит
 на плечах у масс,
город манит,
 огнями смеясь,
ожерелий,
 мехов
 и витрин соблази
и стотысячных свеч
 ножи.
Пациентов обшарь
 и клиентов облажь
и на черный день
 отложи,
и когда
 крепкоробрый сейф
обеспечит
 семейных всех, —
тогда поймут
 от деда до внука,
какую пользу
 приносит наука!
Город стоит
 на плечах у масс,
город гудит,
 огнями смеясь.
Вдруг —
 огни покачнулись,
сжались
 теснины улиц.
Город лишился
 прежнего веса:

Толпа гудела на сходках,
на митингах,
и видели —
злись не злись —
все больше ставало
среди умытеньких
безродных,
изъеденных дымом лиц.
Лаборатории
брались с бою!
Окончилась
верхним слоям
лафа!
И рвал из рук
баррикадной борьбою
знание
у барских сынков —
рабфак.
Не долго пришлось
греть и грозиться:
подавлен
и численно слаб,
противник ушел
с открытых позиций
в глубь
подсознательных сап.
Немного
по городу стало светлей:
в вопросах
осваиваясь
мировых,
доили науку,
как доят у тлей
питанье
рабочие муравьи.
Сами кормясь
в день пятаками,
их кормили,
им потакали.
Столетних
не трогая образъв,

не разгибая спин,
упорно долбили науку
с азов,
вбивая
рабочий клин.
А те
ходили своим мирком,
не веря
в иной порядок вещей:
где —
пытались усесться верхом,
где —
ускользнуть в щель.
Но их
осторожно снимали с вершин
несбыточных
планов и смет
и собственный их
расейский аршин
сверяли
на точный метр.
И все уверенней,
и смелей,
и зорче
прищуriv глаз,
все жестче
выпаривали из щелей
притихший
враждебный класс.
Теперь,
в пятилетье наших трудов,
над колбою
и над книгою,
если он
совсем не подох,
то —
еле ножками дрыгает.
Но, быстро усвоив
свой новый вид,
при жизни
лежа во гробе,

он все еще мстителен
и ядовит
и мелко
жизнеспособен.
Он нас соблазняет
на легкую жизнь,
кривясь
усмешкою злой,
шепча,
что только
с наукой сдружись —
и выплывешь
в верхний слой.
Обилием яств
и пышностью жен
за счет
своего калача
живи,
комфортом до губ окружен,
и ставку свою
получай!
Живи,
отменно доволен и чист,
и ветер
взойдет на круги.
Живи —
и будешь
сыт и пушист
на радость
пушистым другим.
Живи
на зависть
соседних семей
и сказки глупые
брось.
А классовую
превратить сумей
в классическую
рознь!
Мы часто слушаем,
уши развеса,

всех их теорий
внушительный гул,
самодовольством своим,
спесью
тайно обязанный
врагу.

Тигль чист, вымоем руки

Пусть
злобою насытили
и ненавистью
к нам
сердца свои
носители
зеленого сукна.
Они
нам жвачку старую
суют
в голодный рот,
гавайскую гитарою
звения
со всех широт.
Они
до боли в печени
взывают
нараспев
про личный,
обеспеченный,
упроченный
успех.
Они
свой полный песенник
сумели
приберечь,
чтоб мы
в зеленой плесени
завязнули
до плеч.

Сорви
подкладку грязную:
покрой наш —
не таков!
Пускай они
не празднуют
победу
сюртуков.
Молчать —
какого лешего!
Пускай
в ответ ворчат.
Суконце-то
истлевшее
на плечиках
барчат!
Над горькою
потерю
нехай они
скорбят —
высокая
материя
в руках
своих ребят!
Ее мы
сами выткали
в заботах
и трудах
и жилистыми
нитками
скрепили
навсегда.
И всей
командой массовой
под стародавний
плач
начнем
в века подбрасывать
земли
тяжелый мяч,

Пуcкай
 не летом нынешним —
в труде,
 в нужде,
 в борьбе, —
победным
 кончим ффинишем
истории пробег!

1930

Еще совслужащий
чай пьет из кружищи;
еще писатель
спит в своей кровати;
а рабочих на завод
гудок зовет:

«Выходите
из домов,
чтобы город
не замолк.

Вылезайте
из камор,
чтобы город
не замерз.

Собирайтесь
у застав
к топкам,
к трубам,
чтобы город
не застыл

синим
трупом.

Замерзает вода,
застывает газ.
Стереги провода,
не спускай с них глаз.
Становитесь к печам,
расчищайте рельсы,
чтобы город,

грохоча,
двигался и грелся».

Паровозы гудут
гудом:

«По морозу идти
ху-у-удо!

Нас веди и грей
даже в праздники,
подбавляй углей,
лей из масленки!»
Такой мороз,
такой мороз:

А монтеры
рослые,
инеем
промерзлые,
на плечищах
куртки
да в зубах
окурки,
видят —
беда.
И там они
и тут они,
в морозный пар
окутаны,
чинят
провода.
Починили,
сделали, —
в студёный
туман
от снега
поседелые
пошли
по домам.
И сразу загорелся —
свет!
Свет!
Сверк!
Трамваи
по рельсам
бегут
вниз — вверх.
Если с фонарями —
гореть —
уговор, —
свети
до самой рани,
фонарь
дуговой!
Фонарь на дворе,
и фонарь на пороге.

Снова пионеры
 учат уроки.
Стоят и горят
 фонари
 на страже,
и нам —
 с фонарями
 мороз не страшен.
Пусть он щиплетя,
 пусть он дерется —
не проберется
 он сквозь воротца.
Всюду
 его
 остановит
 свет:
«Стой,
 мороз,
 входа
 нет!»
Пионеры
 крепко спят,
сторожа
 вокруг скрипят.
Сторож,
 в кожухе до пят,
видит
 снежный искропад.
Небо
 низколобое
брови
 свело,
стряхивает
 хлопья
с облачных
 волос.
Ровно дыши,
пионерское племя, —
завтра уже
будет
 потепленье.

Выйдем утром,
шеи укутав,
да закольшем
легонькие лыжи,
да, полозами
по скату заляскав,
вверх выползая,
поташим салазки.
Город снеговой,
не обидь никого!
Город запорошенный,
сделайся хорошим!
Город весел,
сосулк понавесил!
Снегу! Снегу!
Смеху! Смеху!
Сколько на улице
веселых ребят,
сколько взрослых
на службу идут!..
Вдоль по улице
скрипы скрипят,
вдоль по улице
гуды гудут!

1930

навалила
 мерцанья снегов;
а над крышами
 кружится
серебристое кружево.
Мы идем,
 воротники отвалив,
белую заметью
 виски подбелив.
Эка вьюга,
 неусыпница,
больно за уши
 щиплется.
Замела она
 дворы и следы, —
сразу стали мы
 стары и седы.
Будто прожили
 тысячу лет,
будто кончился
 нынешний свет.
Расступилась
 белых улиц тишина,
редко-редко
 желть окошка зажжена.
Отработала
 Москва свои часы,
завалилась:
 отозваться не проси.
Если нам
 переулком идти,
вряд ли встретится
 кто на пути,
только где-то
 у мерзлых ворот
над костром
 не замолк разговор:
под тулупною
 тяжестью
речь неслышная
 вяжется.

Стоп!
Давай-ка посидим минутку
с ним,
с этим поздним
разговорщиком ночным.
Собеседник
приветлив и сед,
будто создан
для долгих бесед;
впрочем, может,
в метель занесен,
разговором
он гонит свой сон.
Только видно:
он дед мозговой —
у него
не пустой разговор.

Глава 2

**Первый разговор
про вагоновожатого,
тоже пытающегося стать героем**

Вагоновожатый
вел вагон,
трудно
вагоновожатому.
Скучно было
в руке его
млеть
рычагу зажатому.
Скучно мыкаться
день-деньской,
путь свой
меряя заново.
Шел вагон
по Тверской-Ямской,
шел,
гремел
да позванивал.

Шел вагон себе
 так и смяк,
 без озорства
 и паники.
 Вдруг —
 откуда возьмись —
 такся
 с резвой такой
 компанийкой.
 Вагоновожатый
 глаз скоспл,
 глянул поверх
 и искосу,
 смотрит, внутри его —
 магазиш:
 шубы —
 цены не высказать;
 дамские юбки —
 вверх до колен, —
 видно,
 что на душе ее;
 словом сказать —
 буржуазный плен,
 мелкое
 окружение.
 Вагоновожатый —
 в бег вагон:
 не уступать
 нэпачеству.
 Пьяный шофер
 от него в угол, —
 стоит ли
 с этим пачкаться!
 Но у вожатого
 муть в глазах,
 искр над дугой
 блистанье.
 «Враз от меня
 отлетишь назад,
 вмиг от меня
 отстанешь!»

Мчал вагон
 за заставу влёт.
Дамский скопен
 в испуге рот.
Мечет вожатый
 глазом:
шубы
 свалились наземь.
Как оно вышло —
 сказать не могу,
камни тут были,
 кажется...
Грянул вагон
 в такси на бегу
всей разогнанной
 тяжестью...
После судили его
 за азарт
и за убийство
 граждан...
Только случается,
 я бы сказал,
этакое
 не однажды.
Много из нас
 не умеют понять,
как и кого нам
 перегонять,
рвут
 от зажатой силы
жизни свои
 и жили.

Глава 3,

**из которой выясняется,
что героев принято выдумывать**

Хорошо
 метель шумит за окном,
белый сумрак
 метет волокном.

Хорошо
старик ведет свой рассказ,
словно музыкой
слух заласкав.
Как еще ни посидеть
часочек с ним,
с этим выдуманным
сторожем ночным,
что хранит
Москвы дремучие часы,
что ледяшки
надышал себе в усы,
что поник
и хитро и востро
над стреляющим
ракетой костром?!
Это ты сидишь,
читатель,
предо мной,
это ты
снега качаешь пеленой.
Не метель
закрывает города,
а твоих
старинных правил
борода
распушилась
исконными
записными
законами.
Чтобы в повести
пришел к тебе
герой,
чтобы снял он
тяжесть
с плеч твоих горой,
чтоб тебя растормошил,
разволновал,
чтобы выдумал
высокие слова,

Текут в него
 опивки,
как в винную
 копилку.
Ему отрежут
 хлебца,
отломают
 огурца, —
глядишь,
 и он согрелся
и зраком
 замерцал.
Он —
 к ночи весел,
и сыт,
 и пьян,
и просит
 песен
гора
 тряпья.
А к утру —
 со стаканчиком
стоит
 и ждет заказчиков.
И в общем
 результате —
неплох
 изобретатель.
Иные —
 к хмелю пущему —
услужливо
 суют
непьющему
 и пьющему
посудину
 свою.
У всех ворот
 простаивая —
за жизни
 красоту,

— НЕОБЫЧАЙНОЕ

Чего я хочу? Необычайного.
Того же, что Гоголь и Шамиссо.
Чтоб нос путешествовал по проспекту,
а тень отделялась от каблуков,
свертывалась, как пергамент, в ролик
и исчезала в широких карманах
похитителя серых теней.

Необычайное — не только в этом,
не только в выдумке и балагурье,
но и в том, чтобы смотреть
преувеличенными глазами,
но и в том, чтобы дышать
преувеличенными глотками,
преувеличенными шагами
жизнь настигать и перегонять;
оно в нарушении хода событий,
в переиначенной жизни героя,
в том, чтобы выдать одно за другое,
в меткости слов и в яркости чувств.

Необычайное — всюду, всюду,
ходит, толкается по базару,
лезет в соседний карман за сдачей,
ржет тебе в уши меж двух трамваев,
каплю плющится в лоб с карниза,
лепит в профиль углы подушки,
неповторимостью цепенит,

Видели ль вы, чтобы шла купаться
торгово-промышленная газета?
Шла солидно и неохотно,
переваливаясь по пляжу,
в зад подталкиваемая дуновеньем,
подгоняемая ветерком?
Вначале она вздувалась, как парус,
и плыла, белая, как барка,
потом, распластанная волною,
колыхалась блаженно-глупо,
в соль пропитанная насквозь.

Видели ль вы, чтоб зеленые урны
для плеванья и для окурков,
встав в кружок, на заре под утро,
длили свой молчаливый митинг
в небеса вопиющими ртами —
о предстоящей тяжелой работе
и о том, сколько грязи и сору
за день приходится проглотить?!

Видели ль вы, наконец, собаку,
взятую гицелем на обрывок,
дворником вынутую из петли,
освобожденную от позора,
под мастерскую ругань и крик?
Как она жаловалась и визжала!
Как она бегала за оградой!
Как она лаяла на фургоны,
подозревая всюду измену,
гибель, предательство, петлю и плен!

Видели ль вы дитя в рубашонке,
вставшего раньше восхода солнца,
над цветниками застывшего с сеткой,
ждущего сосредоточенно, молча
бабочки близкое трещиханье?
Если его окликните: «Толя!» —
он не ответит, не шелохнется,
он — как застывшее изваянье,
стусток охотничьего терпенья,

сжатой в комок неразгаданной силы,
имя которой — упрямая страсть.
Вот я окликнул его — он не слышит,
вот я затронул его — он недвижим;
только досадливо шевельнулась
тоненькая золотая бровинка
на нарушителя тишины.

И тогда начало мне казаться,
что не бабочки пестроцветье
завладело его вниманьем,
что следит он, и ловит, и видит
то, что видеть мне не дано.
И, присев на корточки рядом,
стал следить я за направленьем
сосредоточенных детских глаз.
И, отодрав пелену слепую,
словно окалина мглящую взгляды,
я увидал внезапно и близко
все, на что он глядел напряженно,
что разбирал он в цветенье формул —
листьев, тени, песка и росы.

Раз! И слетела завеса с сердца,
раз — это было широким утром —
что-то случилось с землей седою,
мир повернулся на синих призмах,
стал на зарубку больших времен;
что-то сменилось в земле и в небе:
тень пробежала, что ли, косая
и охватила игрою света
все, чем я раньше жил и дышал.

Разом взлетели цветы на стеблях,
переменились песка оттенки,
в море стеклянные встали сваи,
песни людей зазвенели с неба.
Лица друзей просквозили ветром,
с губ послетели забот морщины,
страх и унынье упали в воду,
горечь и злоба распались в дым.

Мчалось по почте тепло на север,
по телеграфу неслась прохлада,
юность дарилась на именины,
сила стояла на перекрестках
и отпускала слабым рукам.
Плечи работали, не потея,
в каждом движении цвела удача,
каждое сердце кипело страстью
и не старело, не выгорало,
а — раскаленное до отказа —
переплавлялось в иной размер.
Тени машин колыхались мерно,
ритм нагнетая в людскую волю,
свет разливая везде и скорость,
шумом своим распрямляя жизнь.

Стала земля без щелей и рытвин,
дочиста вымыта и обрыта
сетью дорог, каналов и шлюзов,
ферм и мостов служа украшеньем;
свежесть и дичь ее не пропала,
не захирела лесов щетина,
но — выгонялись они фабрично,
как озонаторы-резервуары.
Там, где лысело пустынь пятно,
папоротник севера взвился пальмой,
мох распушился в густые степи,
вместе с прохладным морским теченьем
в Черное море плыли тюлени.
Стала земля без трясин и тины,
без грохотанья лавин и обвалов,
дочиста вымыта и одета
в платье искусственных удобрений,
в острые струи зеленых каналов,
в синие ленты воздушных линий.

Омоложенная влагой и светом,
миллионнолетняя эта старуха
стала веселым и чистым котенком,
стала одним огромным хозяйством,
где никому не темно, не больно,

не одиноко, не сиротливо,
где тебе каждый дорогу укажет,
лаской обвеет и песню сплет.

Что же такое случилось с землею,
что пронизало людские поступки? —
Необычайное вышло наружу,
необычайное стало законом.
То, что, смеясь, отвергали люди,
точно бессвязную небылицу, —
стало историей и дневником.

Только подумать, что это будет!
Это случится на том же месте,
где мы живем, ненавидим, любим,
где мы идем, как по дну водолазы,
двигая медленно и неохотно
будней свинцом налитые ноги.

Только подумать, что это станет!
Станет сверкать на столбах придорожных,
станет густеть в долголетье хроник,
в неопикуемый влившийся шрифт.
Пишущие машинки без стука
станут записывать сами мысли,
будут жилища перемещаться
вкось по воздуху в дальние страны,
будет — не только когда чихают —
каждое выполняться желанье,
будет веселье — как соль к обеду,
в каждом жилье заблестит термометр,
измеряющий счастье живущих,
ниже четырнадцати делений
не допускающий сил упадка.

Люди иной, хрустальной эпохи
станут внимательней и точнее,
станут видеть, что нам непонятно,
и о нас вспоминать, как о старых
консерваторах и неряхах,

головой с сожаленьем качая,
говоря, что это случилось
(точно мы о царе Горохе)
до распаденья атомных ядер,
до коммунизма на всей земле!

Может, другое названье будет,
лучше, звончее, понятней, ярче,
но назовем его коммунизмом,
так как, его ощущая сердцем,
кожей, ноздрями, весной, дыханьем,
так мы его пока понимаем.

И о таком непривычном веке,
п о таком невозможном свете
весть синеватую и сырую
я подсмотрел, подглядел, подслушал,
тихо нацелившись и наблюдая,
в щелочки детских пытливых глаз.

Необычайными стали тени,
необычайными стали мысли,
необычайностью стало время,
мне отпущенное на жизнь.
Так как — бабочкою кружася,
пестрой выдумкою сверкая,
село будущее перед нами
на росой покрытый цветок.
Так как дитя со мной было рядом,
так как дитя его ждало жадно,
так как пред детским горячим взглядом
будущее не умеет лгать.

Необычайное ж — всюду, всюду,
только взглядишь в него вровень с морем,
только лови его на обрывок,
только застынь над ним с плотной сеткой.

И не морской благодатный отдых,
а закипит дорогая тревога —
пестрым блеском, осколком сичи,
тысячью непережитых мгновений
враз опрокинувшись на тебя.

1930

ПРИМЕЧАНИЯ

Во 2-й том Собрания сочинений вошли стихотворения и поэмы 1927—1930 годов из следующих книг Николая Асева:

СТИХОТВОРЕНИЯ

1. Собрание стихотворений в трех томах, ГИЗ, М.-Л. 1928, том II. Включены стихотворения из всех трех циклов тома: «Столичная лирика», «Оранжевый свет», «Стихи на случай».

2. Собрание стихотворений, ГИЗ, М.-Л. 1930, том IV (дополнительный). Включены стихотворения из двух циклов тома: «Чужая», «Разные стихотворения».

3. Работа над стихом, «Прибой», Л. 1929.

4. Избранные стихи, ГИЗ, М.-Л. 1930. Включены стихотворения из двух циклов книги: «Героика», «Курские края».

5. Запеваем! ГИЗ, М.-Л. 1930.

ПОЭМЫ

1. Семен Проскаков, ГИЗ, М.-Л. 1928.

2. Рабфак, Собрание стихотворений, ГИЗ, М.-Л. 1930, том IV.

3. Кутерьма, там же.

4. Антигениальная поэма, там же.

5. Необычайное, там же.

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Столичная лирина

(1928)

Послание критiku	7
Сухой доклад о жажде светлых речных прохлад . .	10
Предгрозье	12
Раным-рано	14
День отдыха	16
Ночью из окна	19
Свет	23
Москвичи	26

Оранжевый свет

(1928)

Свет мой...	32
Весенняя песня	34
Звени, молодость	37
Песня о предмете роскоши	39
Городу	43
Москворецкие частушки	49
За синие дни	51

Стихи на случай

(1928)

Песни Пищика	53
Топ-топ-топ	57
Ночные страхи	60
Летит хохоток — бегут на каток!	63
Конец зиме	66
У мая моего	68
Пионер-песня	70
Лыжи	73
Волоколамск	76
Им	81
На берегах Янцзы	84
Крепим оборону	86
Синий май, вольный край...	91
Свежий ветер	93
Английским пионерам	96
Каждый раз, как смотришь на воду...	100
Баллада о желтом Томасе	102
Так получается	105
Боевая тревога	108
Светлые брови	111
Туман, туман над Лондоном...	114
Вставай, Китай!	116
Октябрь	120

Чужая

(1928)

«Глаза насмешливые сужая...»	126
«Летят недели кувырком...»	128
«Слушай, Анни, твое дыханье...»	130
«У меня хорошая жена...»	132
«День сегодня такой простой...»	134
«Оставьте, баптисты...»	136
«Не будет стога сирого...»	138

Работа над стихом

(1929)

Дыханье эпохи	139
Литературный фельетон	142
Красная присяга	145
Спартакиада	147
Мы спортсмены	150
18 марта	152
Три Анны	155
Молодость Ленина	159
Она продолжается	161
Десятый Октябрь	165
Симбирская даль	170
Охота на орлов	173
Эмигранты	177
Граница	181

Разные стихотворения

(1930)

Разговор с Москвой	184
Мы живем... ,	188
Искусство	190
Октябрьские песни	192
Идем	195
Песня одиннадцати лет	197
С новым МЮДом!	199
Перебор рифм	202
Чернышевский	204
Последнее обращение	208
Тем, кто не любит советских тем	211
Дорога	215
Поток	219
Песня ударных бригад	223
Ударная песня	225
Марш международного пионерского слета	228
Музыка с Веддинга	230
Первомайские сигналы	232

Героика

(1930)

В одной стране	235
Английскому рабочему	237
Нанкин горит	239
Коминтерн	240
Воздушный марш	243
Прогулка по лесу редактора «Форвертса»	245
Путевка каждому новому самолету	249

Нурские края

(1930)

Вступление	252
Дом	254
Дед	257
Бабка	259
Мальчик большеголовый	261
Детство	263
Город Курск	266

Запеваем!

(1930)

Новая «Буденная»	270
Комсомольской лодке-подводке, ее бесшумной походе Дальневосточной армии	273
Встреча	275
От белых лап	277
Белый берег	280
Днепр пошел влево	282
Турксибу	287
Город	291
«Динамо»	295
«Динамо»	298
Стой, товарищ, держись, не свались!..	303
О нарождающемся быте, поэты, в радио трубите!	309
Два лица	312
Кому впрок прогулов поток?	314
Из рабочей гущи вылетай, прогульщик!	316
Пора прочищать рупора!	319
Последний разговор	321

п о э м ы

Семен Проскаков	331
Рабфак	366
Кутерьма (<i>Зимняя сказка</i>)	380
Антигениальная поэма	389
Необычайное	403
Примечания	410

А с е е в
Николай Николаевич

Собрание сочинений
том 2

Редактор *Н. Крюков*
Художественный редактор
Ю. Васильев
Технический редактор
З. Евдокимова
Корректоры *Р. Пунга*
и *А. Юрьева*

Сдано в набор 21/III 1963 г. Под-
писано к печати 30/IX 1963 г.
А-07040. Бумага 84×108¹/₃₂. Печ.
л. 13. Усл. печ. л. 21,32. Уч.-изд.
л. 18,652. Тираж 27 000. Зак. № 278.
Цена 1 р. 25 к.

Издательство
художественной литературы,
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Ленинградский Совет народного
хозяйства. Управление целлюлоз-
но-бумажной и полиграфической
промышленности.
Типографил № 1 «Печатный
Двор» им. А. М. Горького, Ленин-
град, Гатчинская, 26.

